

# СТРОНГ

10

ISSN 0131—6656

Кто защитит наши права? Мнение ученого

Версия о гибели О. Э. Мандельштама

Рассказ американского писателя Лорена Айзли

Подозреваются... Журналистское расследование

Языком притчи. Живопись В. Овчинникова

ОБРЕЧЕННЫЕ?  
(ст. 6—8)



Фото Евгения СТЕЦКО



Наш собеседник — Борис НАЗАРОВ,  
доктор юридических наук,  
профессор,  
заведующий кафедрой прав человека  
Всесоюзного  
юридического института,  
вице-президент комиссии  
ассоциации содействия ООН в СССР;  
до этого пять лет  
руководил одним из отделов  
Центра по правам человека в ООН.

# ЭФФЕКТ ПИОРАНИЗМА

**—** В аша кафедра — единственная в СССР и в социалистических странах. Ее недавнее появление и удивляет, и радует.

Радует, потому что — наконец-то!.. А удивляет, потому что — выходит...

— ...выходит, с правами человека у нас не все в порядке.

Хотя до недавнего времени проблем не было! Запад приписывал нам всякие нарушения, но мы от них откращивались, кипя негодованием.

Да, мы утверждали, что СССР — самое демократическое государство в мире, только у нас все делается для счастья народа, только советский человек — истинный хозяин страны. Эти лозунги мы провозглашали и при сталинском «казарменном» социализме, и при брежневском «зрелом».

— А сейчас разве не провозглашаем?

— Ну, сейчас-то мы стараемся не только провозглашать, но и действовать.

Кстати, сегодня с нашей кафедрой

налаживают контакты юристы социалистических стран: планируют открытие аналогичных кафедр в высших учебных заведениях.

— А как вы считаете, почему кафедра прав человека не появилась на заре Советской власти, что было бы вполне логичным?

— В принципе это могло произойти. Но время было уж очень сложное — сломана одна система, и только еще начинали создавать новую. Сказывалось и то, что уровень образования масс был невысок. Крестьянские ходы, ревтрибуналы — люди были юридически совершенно неграмотные, действовали на основе своего революционного сознания. Но удивительное дело — ревтрибуналы, призванные главным образом карать, множество дел завершили оправдательным приговором. Сегодня в наших судах такое увидишь крайне редко — оправдательных приговоров почему-то боятся.

— При Сталине, пожалуй, вряд ли могла существовать ваша кафедра?

— Как ни парадоксально, думаю, могла бы! Ведь была же сталинская

Конституция, в ней — много прекрасных слов о правах советских граждан. Но только на бумаге были эти права. Так же, на мой взгляд, могла существовать и кафедра.

При Брежневе в ней, похоже, просто не было необходимости. Мы ведь говорили: у нас все хорошо, и не лезть в наши внутренние дела.

Конечно, нам могли поверить и на слово, а для пущей убедительности посмотреть фильмы о счастливой жизни советских людей, послушать наши переполненные оптимизмом песни. Но как только кто-то из Запада хотел своими глазами увидеть народное счастье, торжество нашей демократии, мы «ощетинивались», прикрываясь заботой о суверените и тем самым способствуя распространению представлений о том, что СССР — закрытая, тоталитарная страна, где преследуется инакомыслие, грубо нарушаются права человека, свободы вероисповедания.

Атака на СССР по вопросам прав человека усилилась особенно при Картере. Это застало нас врасплох. В результате был нанесен чувствительный

удар по нашему международному престижу и привлекательности социализма вообще. Ведь проблемы прав человека у нас никогда не изучались как следует. Мы считали, что все прекрасно идет само собой, как, впрочем, и в экономике, и в общественных науках...

— А как только в начале семидесятых годов у нас появились собственные граждане, критикующие положение в стране и, надо подчеркнуть, имевшие конструктивные предложения, их тут же стали именовать диссидентами и ругать на страницах печати. А сегодня выясняется, что они вовсе не желали зла своей родине, напротив, хотели изменить что-то к лучшему. Да и слово «диссидент» в переводе с латинского означает всего лишь «несогласный». В нашем же переводе оно звучало практически как «враг».

— Вообще считаю этот термин неудачным в том приложении, как его использовали. Несогласный — значит, инакомыслящий. Но в демократическом обществе инакомыслие вполне допустимо! Порой представителей обще-

ственных самодеятельных движений или объединений, критикуют без разбора, иногда явно незаслуженно называя их диссидентами — с оттенком враждебности.

— Ну, а разве само понятие плюрализма не предполагает инакомыслия? Парадоксальная ситуация: с одной стороны, провозглашаем гласность, с другой — пытаются втиснуть ее в какие-то рамки...

— Плюрализм мнений — это то, без чего вообще невозможно никакое демократическое общество. Плюрализм — и есть возможность для инакомыслия. Никто не вправе претендовать на истину в последней инстанции. Плюрализм предполагает обсуждение, споры и на их основе — выработку решения, а не наоборот, когда готовое решение, выработанное где-то наверху, выдается уже не для обсуждения массам, а фактически для ознакомления. Как это было, например, с Указом, регламентирующим митинги и демонстрации. Как понять его создателей? Не были готовы к массовым выступлениям народа, возникли опасения: как бы чего... Поторопились. В «Советской культуре» шесть докторов юридических наук, в том числе и я, в октябре прошлого года выступили с призывом к депутатам вынести этот Указ на всенародное обсуждение. Тем не менее, несмотря на многочисленные протесты, Указ стал законом.

Надеюсь, он будет доработан. Недопустимо принимать правовые акты второпях, нужна крайняя осмотрительность. В декабре прошлого года было принято решение создать при Верховном Совете комитет по надзору за исполнением законов. Хочется верить, что будут пересмотрены неудачные законы.

Помню, в «Комсомолке» была информация о том, как девушка-депутат голосует против этого Указа, а рядом сидящий немолодой уже депутат своей рукой опускает ее руку. Прямо-таки физическое воздействие!..

— Однако у нее была и вторая рука...

— Конечно! Но, видимо, страх победил. А в Белоруссии в соответствии с этим Указом, как вы помните, в прошлом году в День Поминовения людей разгоняли дубинками...

К разгону демонстрантов на Западе мы привыкли. Но ведь теперь и у нас кое-что уже говорит: мол, у них разговаривают, и нет ничего страшного в том, что и у нас будут. Но давайте же брать у Запада только хорошее!..

Если инакомыслие не выходит за рамки Конституции, не направлено на насилие, свержение государственного строя, не пропагандирует насилие, это нормально. Если же выходит, люди, несущие эти взгляды, становятся объектом регулирования уголовного права.

Увы, мы медленно учимся терпимости к мнениям, не схожим с собственными. И тут оказывается инерция: боимся, что социализму что-то повредит.

— То есть с мыслью нужно бороться исключительно мыслью, а не с помощью государственного аппарата, что делалось, например, с диссидентами? У человека и государства слишком разные «весовые категории». У государства — административные меры, милиция...

— Но тем-то и отличается правовое государство от неправового, что человек может подать в суд хоть на самого президента! И ежели окажется прав, на его стороне будут и административные меры, и милиция... То есть побеждает не власть, а истина.

— Философский словарь 1982 года трактовал понятие плюрализма как нечто враждебное социализму. Сейчас в ходу словосочетание «социалистический плюрализм». Оправдана ли, на ваш взгляд, эта приставка — социалистический? Чем наш

### Плюрализм отличается от буржуазного?

— Думаю, ничем. Что касается приставки, это — скорее всего тоже следствие инерции. Должны же мы хоть чем-то отличаться!..

### А чем же тогда социалистическая демократия отличается от капиталистической?

— Демократия — прежде всего значит полное народовластие. Мне кажется, что скорее всего это возможно именно при социализме.

### Не очень убедительно...

— Мы пережили десятилетия отчуждения народа от власти. Но не Советы вообще показали свою полную несостоятельность, а то, что у нас выдавали за Советы. Сейчас мы снова заговорили: власть — Советам, землю — крестьянам, заводы — рабочим. Именно при таком раскладе у нас больше, чем у капитализма, возможностей для полного народовластия, фактического, а не демагогического. Не случайно мы говорим сейчас о необходимости именно революционных преобразований, возвращающихся к идеям Октября.

История прав человека — это вообще история революций. После американской революции появилась Декларация независимости 1776 года. Декларацию прав человека и гражданина приняли во Франции в 1789 году. Декларация — «говорящее слово», в принципе — это мечта народа о том, как должно быть. До сих пор ни в одном самом демократическом государстве не удалось избавиться от систематических грубых нарушений прав человека. Более того, люди стали забывать о своей мечте. Когда, например, журналист в США останавливает людей на улице и зачитывает им выдержки из американской конституции, многие считали, что это — «красная пропаганда»...

— Сегодня, мы знаем это по сообщениям печати, во всем мире в разной степени нарушаются права человека. В чем, на ваш взгляд, они нарушаются у нас?

— Ну, к примеру, возьмите паспортную систему. Попробуйте прописаться там, где хотите... Если нет в паспорте штампа о прописке, не возьмут на работу. Полвека уже прошло, как появился советский паспорт (с помощью паспортной системы ограничивали передвижение людей по стране), с тех пор ничего не меняется!

У нас и журналисты порой не могут получить всю необходимую для работы информацию, а ведь закрытой должна быть лишь та информация, что представляет собой военную или государственную тайну.

Пожалуй, одна из самых болезненных для любого общества проблем — адаптация человека, отбывшего наказание. Мы делаем из него изгоя, лишаем прописки, работы, которой он занимался, его могут взять лишь грузчиком, сторожем. Значит, мы изначально предполагаем, что он не может исправиться, стать равным нам, то есть полноправным членом общества. Лишь прав, мы тем самым толкаем его на новые преступления. В его документах клеймо на всю жизнь — запись о судимости...

Я видел один из проектов правил выезда за границу. Если он будет принят, мы сможем выезжать в любую страну без объяснений мотивов. Останутся лишь два препятствия — знание государственных тайн и ответственность перед семьей, если она живет в Союзе.

— То, о чем вы говорите, в разной степени волнует многих граждан нашей страны, но, наверное, всех однаково волнует вопрос: как создать гарантии демократии, гарантии соблюдения прав человека?

— Наше законодательство нужно привести в соответствие с международным, в частности, с Итоговым Венским Документом. Это прежде всего.

Гарантии должны быть заложены в самих законодательных актах. Без этого вообще нельзя говорить о соблюдении прав человека. В наших законодательных актах до последнего времени не хватало именно этих гарантий, то есть человеку вроде бы предоставляются большие права, но в случае ущемления прав его некому защищать.

К нам, юристам, постоянно обращаются с просьбами высказать свое мнение по тем или иным проектам законов. Мы работаем, передаем свои пожелания, а потом, когда выходит новый закон, с сожалением обнаруживаем, что работа наша идет в корзину. Почему так происходит, мне неведомо.

### В таком случае, кто же у нас в стране создает проекты законов? Конкретно?

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос четко. Однако думаю, если бы среди депутатов Верховного Совета было побольше юристов, специалистов по правам человека, мы бы все от этого только выиграли. А разрыв между декларируемыми и реальными правами человека существует во всех странах. Нужны объединенные усилия юристов всего мира для разработки концепции механизма гарантий прав человека.

Важный элемент гарантий — право депутата на запрос. Возьмите, к примеру, практику британского парламента. На запрос депутата отвечает премьер-министр. «Таймс» дает стенограммы дискуссий. У нас право на запрос не «работало». Депутаты, как автоматы, голосовали за то, что им предлагали сверху, а запросы депутатов должны, на мой взгляд, в обязательном порядке включаться в повестку дня заседаний Верховного Совета. Три-четыре дня — ответы на запросы депутатов. Тут уже потребуются конкретные, аргументированные ответы, принятие мер. Правительство свои позиции будет объяснять, а депутаты решать: так делать или иначе. Эти дебаты нужно печатать в прессе. Люди будут следить за ходом дискуссий. Избиратели увидят, как депутаты борются за их интересы, какова реакция правительства. Все это повысит ответственность не только депутатов, но и правительства.

Конечно, нельзя не сказать о судах, которые должны превратиться в универсальное средство защиты прав человека.

### Раз вы заговорили о судах, вопрос о политзаключенных. Есть ли они у нас?

— И граждане СССР, и иностранные граждане предъявляли нам списки так называемых политзаключенных. Мы изучили их. По нашим проверкам, подавляющее большинство этих людей было осуждено за уголовные преступления.

С 1986 года статья за антисоветскую агитацию не применяется, с конца 1988-го осужденные по этой статье освобождены. Не вышли на свободу лишь те, кто проходил по совокупности статей.

### Что вы имеете в виду?

— Ну, например, грабитель или убийца вдруг стал кричать: «Долой Советскую власть!» Он, что, превращается в политзаключенного? Политическими лозунгами очень удобно прикрывать свои уголовные дела. По данным КГБ, в изоляторе следственного отдела уже примерно два года не содержатся лица, задержанные по политическим мотивам.

### А как обстоят дела за рубежом?

— Американский наблюдатель в ООН подтвердил, что в США двести политзаключенных.

С проблемами политзаключенных и диссидентов дело порой доходит до курьезов. В конце декабря прошлого года в Москве проходила Международ-

ная конференция по истории прав человека и современности. Приехали крупнейшие специалисты из США, Франции, Англии, других стран. И вот когда академик Кудрявцев закрывал заседание и объявлял перерыв, неожиданно в зале появилась неизвестная женщина и попросила слова. После перерыва ей дали возможность высказаться. Она учительница из Волгограда, ее преследовали за критику, оскорбляли, ее и мужа представляли психически не-нормальными. В итоге она попросила у международной конференции защиты. И вдруг начала говорить о том, что верит в победу перестройки, верит в партию, мол, второй партии нам не надо!.. Потом, в кулуарах, когда мы обсуждали происшедшее, западные коллеги усомнились, что эта женщина — не подставное лицо и вся ситуация не была спланирована заранее...

Еще пример. В феврале, по инициативе американцев, был проведен радиомост «Нью-Йорк — Москва» по проблемам прав человека. С их стороны участвовали профессор университета и политический деятель. Они представляли «Голос Америки». С нашей стороны был приглашен я, отвечал на вопросы, очень доброжелательные, корректные. Под занавес я попросил ответить, какую проблему в области прав человека они считают главной в своей стране. «Очень хороший вопрос, — сказали мне, — но... к сожалению, время наше уже истекло...»

— Наш разговор мы начали с вашей кафедры. Давайте этим же и закончим. Поэтому последний вопрос: с какими проблемами вы сталкиваетесь в своей работе?

— Главная: нет специалистов по правам человека. В международных конференциях по правам человека мы всегда были самыми активными участниками, а вот в собственной стране никто этим никогда не занимался.

Считаю, должен быть изменен процесс подготовки будущих юристов. Не говорю уже о том, что юристов у нас в несколько раз меньше, чем на Западе. Там не представляют себе, как и шаг-то ступить без адвоката!..

Только-только мы издали первую в СССР и соцстранах программу курса обучения по правам человека. Не хватает преподавателей, нет выбора. Не можем найти специалистов.

К нам на кафедру приходят разные люди, просят защитить их от беззакония.

Очень много писем. Люди просят о помощи. В тех случаях, когда мы видим основания для разбора, связываемся с той инстанцией, куда обращались авторы писем в последний раз, просим вернуться к этому вопросу, берем под неофициальный контроль. Есть уже и первые телеграммы с благодарностями: наше вмешательство помогло.

Но мы — капля в море! Как можно скорее нужно создать Комитеты по правам человека, кафедры, подобные нашей, в университетах, в больших городах открывать центры по правам человека, где все нуждающиеся смогут получить помощь. Это вопросы государственной важности!

Вы спрашиваете, какие трудности? Не хватает времени: встречи с людьми, письма, разработка методик, лекции, очень много приходится участвовать в различных конференциях. Готовимся к поездке в США: совместно с американскими специалистами по правам человека будем писать книги.

Кроме подготовки будущих правоведов, одной из важнейших задач мы считаем пропаганду знаний по правам человека. Нужно разъяснять людям их возможности. А мечтаю сейчас об одном: скорее бы издать учебник!

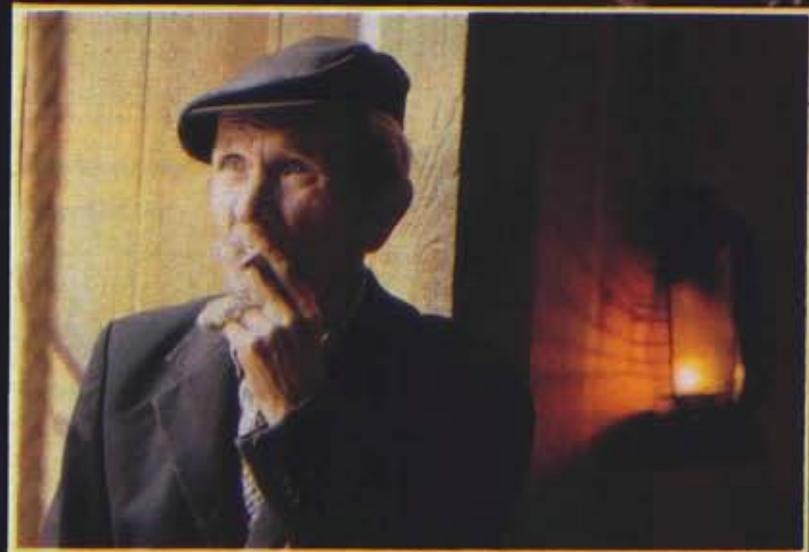
Беседу вели Максим ЗЕМНОВ и Юрий РАГОЗИН.

СМЕНА '89

МАСТЕРА

# МОГОЛЬСКИЙ КАРДАЙ

Геннадий ОСТАПЕНКО  
Фото Александра СТЕНИНА



# В

кухне на табуретках две деревянные квашни. Одна — с пшеничным замесом, другая — с роженым. Тесто уже подошло и готово к разделке. Сначала пекут ржаной; состав строгий — мука, соль, закваска. Можно немного солода для особого вкуса добавить. Старики говорят: «Духовитость ржаного — в закваске таится, в опаре силу набирает, в тесте — созревает».

...А самое первое дело, конечно, мука, мельница.

В большой белорусской деревне Мотоль все «выдающиеся» постройки — на площади. Дворец культуры, в котором место нашлось и правлению колхоза и сельскому Совету. Слева, впритык к нему, двухэтажный универмаг. Через дорогу — кинотеатр «Ясельда» (деревенские так называли, по имени своей красавицы реки). Школа искусств и детский сад — на противоположной стороне. Там же деревянный дом с резными наличниками — будущий музей быта и народного творчества, каменная церковь... И — ветряная мельница.

Раньше, до войны, их было десять в деревне, даже одна паровая. Да не уверяли — какие сгорели, какие покружились...

Спасибо местному умельцу-самоучке Мацукевичу. Уважил мастеровой человек земляков, поставил деревянную ветрянку — любо-дорого смотреть. Вот и я загляделся.

— Что, добр человек, любуешься? — раздался за спиной приветливый голос.

— Складно сработано...

Похвала понравилась.

— Пусть они что угодно тебе говорят, — старик махнул рукой куда-то в сторону. — А хлеб все равно начало берет с муки, осталное — прибавки. Можешь мне верить: я сорок лет мельником работал.

На вид — сухонький, небольшого роста, лет под семьдесят, но держался прямо, задористо так голову поднимал. А в глазах его — голубизна, и — ни тени зазнайства.

— Муку-то без мельницы хоть раньше, хоть сейчас — не получишь. Первая вещь... А ну, пойдем покажу свою «красавицу».

Мельница была крепкая и в то же время изящная — светом наполненная, воздухом.

— Со всех концов страны просят прислать чертежи, а понять не могут, что каждая мельница особый имеет расчет, — поясняет мастер. — Оттого собственная стать у каждой. Одну с другой никогда не спутаешь, ручась.

— Не тут бы ей стоять, — покачал он головой. — Крыльям простор нужен...

Но скорее для приличия эта критика, так как место выбрано видное. И мелют зерно не тоннами здесь, а пудами. По праздникам — на «зажинку» — начало жатвы, и «дожинку» — окончание. Двери музея хлеба, который организуют на мельнице, будут открыты для всех и в любой день.

Первый ветряк Мацукевич еще юнцом строил, вместе с отцом. Во дворе, всего в полтора метра высотой. Обидно было: у богатея мельника есть, а у них — нет. Работала та мельница-невеличка исправно: и для себя успевали муки намолоть, и для соседей.

«Волшебная», — шутили деревенские, — за калиткой не разглядеть, а гору мешков с мукой, что намолота, и с краю деревни видно».

До войны это было, в тридцать восемь. А через год Западная Белоруссия стала советской.

Отдали Мацукевичу огромную мельницу, чтобы хлеба было вдоволь у крестьян. Только привел хозяйство в порядок — война...

Особой мельница стала. За то, что по ночам зерно молола для партизанских отрядов, «партизанкой» прозвали. Чуть не каждые сутки отправлялись в темноте телеги с мешками на остров Перуся, в отряд...

— Трудно мельницу построить? — окидывая взглядом высоченное сооружение, спросил я.

— Конечно, не то, что забор. У мельниц свои ранги имеются. Эта вот, шатровая, — высшего. Высота какая! Одни крылья — четырнадцать метров. Называется она еще «крупчаткой», за то, что на ней любой помол сработать можно, не как на «раструшке», где только рожь мелют.

И он повел меня показывать мельницу изнутри.

— Механизм хоть и простой, а аккуратность обязательно нужна, — указал хозяин на огромное ветряное колесо. — Главная деталь — стоячий вал. Он идет до самого низа. На нем и крепятся жернова. Одна пара — один постав, две — два постава. Больше жерновов — выше качество муки. Но и жернова разные бывают. Московские, мелкозернистые — самые лучшие. А еще дело в самом мукомоле, на «крупчатках» его мастером величают. Только он умеет подобрать один жернов к другому, чтобы получилась настоящая пара.

За разговорами мы оказались в нижнем помещении.

— После помола муку надо сразу охладить, чтобы не образовалось комков, для этого ее рассыпают и переворачивают деревянной лопатой. Вот тогда она готова, можно хлебы выпекать...

В Мотоле самый вкусный хлеб, домашний, Ольга Григорьевна Романович выпекает.

Вспомнились слова, которые слышал здесь, в Белоруссии: «Смело входи в двери, где пахнет хлебом: там живут добрые хозяева».

Нам были рады. Стали уговаривать яблоками. Десятиклассница Татьяна пригласила присесть, сказав, что мама «колдует» у печи.

— Можно полюбоваться? — спросил я.

— Пожалуйста, если интересно... К нам часто соседи ходят, а ребятня с утра у окошечка. Горяченького дожидается. Я им колобки делаю, настоящие.

Ольга Григорьевна в нарядном фартуке, блузке с короткими рукавами

ми, волосы прибранны косынкой: «А я же, кали трэба робіць смачны хлеб?» — смеется она.

Мне понятен смысл сказанного: печь хлебы — особая работа — праздничная...

Но вот горнило в печи чисто вымечено еловыми ветками. Готовы округлые порции теста. Хозяйка открывает заслонку...

Теперь все делается быстро-быстро, чтобы не остудить печь, чтобы температура не упала ниже двухсот градусов.

Десять взмахов деревянной лопатой, и десять хлебов — на раскаленном поду. Особенность качества и вкуса мотольского каравая еще и в том, что под каждую ковригу подкладывают дубовые листья. Их соединяют, прикалывая черенками друг к другу, получается зеленая «салфетка». На ней и выпекается белорусский хлеб, впитывая в себя аромат дубовых листьев.

— Дубовые листья — это ваша «тайна»?

— Тайна — это когда утаяка от людей, а я всех учу — показываю. Дело не только в дубовом листе. К примеру, готовность опары, замес теста не менее важны. Тесто бродить должно несколько часов в теплом месте. Тогда объем его увеличивается в три раза. Обминать ржаной не надо. От этого аромат ослабнет и мякиши при выпечке жестче будет; но вот жиру свиного добавляю, чтобы долго не черствел...

Хозяйка приоткрыла заслонку печи, приблизила лицо — пора!

Тут никаких расспросов: печь и пекарь заняты серьезным делом.

Два часа длилось сотворение хлеба за закрытой заслонкой. Первый раз Ольга Григорьевна чуть сдвинула ее — глянуть, как корочка. Другой раз водицей из пригоршни на стекни побрызгала, пару поддавала, чтобы вкус не оплошал и не крошился мякиш...

Заслонка отставлена в сторону. Созрели, родились хлебы. Их раскладывают на яркие рушники на большом столе в горнице, у окна, что выходит на улицу. Пусть народ любуется, пусть заходят соседи, прохожие: свеженько отведать, хозяев уважить, честь хлебу отдать. Так заведено в Мотоле.

— За стол, — приглашает хозяйка и выставляет теплый хлеб, мед и са-мовар.

— Уважьте, отведайте, — почтует, нарезая ковригу аккуратными ломтиками, Ольга Григорьевна...

Мотольский каравай потому так и славится на всю Белоруссию, что сначала гостей угождает-радует, а потом уж своих, домашних.



# МЕДСТАВ

Валерий МАЙОРОВ  
Фото Евгения СТЕЦКО

причине — даже за короткий срок подготовки этого материала оно увеличивалось дважды.)

Парентеральным — так выражаются специалисты. На общедоступном языке это означает: заражение произошло через нестериллизованные, проще говоря, непрокипяченные шприцы.

Столица Калмыкии — не относящаяся к числу городов портовых, расположенных в сейсмоопасной зоне или поблизости от АЭС, — вошла в географический реестр крупнейших отечественных катастроф и трагедий. Как и положено при ЧП, в Элисте прибыла высокая комиссия во главе с замминистра здравоохранения РСФСР Элеонорой Алексеевной Ноговицыной. Из Москвы, других городов приехали видные ученые, специалисты. Приступила к работе и следственная группа, руководимая старшим следователем Прокуратуры РСФСР Виктором Ивановичем Пантелеем.

**В** конце января нынешнего года республиканская детская больница в Элисте находилась в состоянии шока: здесь парентеральным путем заразилась вирусом СПИДа большая группа детей (преимущественно годовалого возраста) и некоторые из их матерей. (Конкретное число не указываю по горестно-простой

причины — ситуация в Калмыкии... Среди причин случившегося специалисты-эпидемиологи называют неорганизованность, отсутствие элементарного порядка, преступную халатность медицинского персонала.

Новый шестизэтажный корпус, рассчитанный на 300 мест, больница получила в 1983 году. Сколько он строился, никто точно и не помнит. Некоторые говорят, что лет десять — пятнадцать. Слышал и такую меру летосчисления — «при трех союзных министрах». Но поражает иное: уже сегодня здание это необходимо капитально ремонтировать. Причем сроки до предела сжаты: два месяца!

Управляющий трестом «Калмгражданстрой» Анатолий Ильич Ченковых сокрушился:

— Немыслимо в такой спешке сделать работу с высоким качеством... Объект внеплановый. Финансирование еще не открыто. Дефектных ведомостей нет...

Я спросил:

— Как же так, всего шесть лет эксплуатации — и ремонт?

— Да так строили! — ответил строительный начальник.

Прорывает отопительную систему из-за плохой изоляции. Большой частью зимой. Больница частенько остается без воды — то горячей, то холодной. Починить то и дело выходящие из строя лифты — проблема. Заменить унитазы, смывные бачки — проблема. Доставить белье в прачечную — тоже проблема.

...Яркий плакат на больничной стене — смеется веселая и здоровая ребятня. Аршинные буквы: «Пусть растут на солнечной планете наше счастье, наша радость — дети!» На дверях таблички — «В этом отделении работает отличник здравоохранения СССР (такой-то, такая-то)», «Здесь работает заслуженный врач Калмыцкой АССР...» Читая на стенде: «активно проводить санпросветработу», «активно бороться за овладение смежными профессиями (?!)», «всемерно содействовать», «активно», «регулярно». Еще один фундаментальный стенд: «Договор по наставничеству». Расписанные краской на зарубленной фанере графы — «наставник», «наставляемый». Фамилии.

Цифры в клеточках. Все, как положено. Как у других.

Не будь ЧП с его переполохом, с ремонтом, срочно начавшимся по решению обкома партии, вся эта «наглядная агитация» скорее всего не бросилась бы в глаза. Привыкли.

Каждый, кому в последние годы пришлось хоть однажды лежать в больнице (в обычной, для простых смертных), иметь дело с поликлиниками, судит о здравоохранении, конечно же, не по плакатам, на своей, как говорится, шкуре смог почувствовать накопившееся неблагополучие родной медицины — и по части ее материальных возможностей, и в снижении нравственной планки гуманности, милосердия, кадрового корпуса защитников нашего здоровья.

Ныне неблагополучие материальное сказалось и в отсутствии одноразовых шприцев. (На которые, кстати, делается — хоть и с опозданием — одна из главных ставок в провозглашенной Минздравом Союза программе борьбы со СПИДом.)

Но неужели даже при означенном отсутствии нельзя было избежать эпидемической катастрофы?

Скорее всего в невозможность случившегося и веровали свято, по инерции принимая за действительность весь тот словесный антураж, что долгие годы вился вокруг нашего здравоохранения. Но «пыль в глаза» рассеивается, и мы видим: в доблестных рядах стражей здоровья взращены уже медсестрички, которых впору посыпать в какую-нибудь крайне недружественную, агрессивную по отношению к нам страну — пусть здоровые классового противника расстраивают.

(Вернувшись из Элисты, я позвонил юной родственнице, обучающейся в одном из московских медучилищ. Зная, что она, будущая медсестра, прошлогодним летом проходила практику в столичной клинике, поинтересовалась насчет приобретенного опыта, в первую очередь по части инъекций. Смысл услышанного таков: делала она уколы, как все, начиная со старшей медсестры, наставницы практиканток. А именно: несколько инъекций одним шприцем. Менялись только иголки. Более того, случалось, шприцы вообще не кипятились. Промывались под краном и заворачивались в вощенную бумагу, — так, как будто прошли стерилизацию.)

В Элисте бригаде следователей (с привлечением медиков-специалистов) придется немало месяцев заниматься трудоемкой работой: анализиро-

вать сотни историй болезней, табелей рабочего времени, накопительных ведомостей, прочую больничную документацию (немалая часть ее оказалась почему-то пропавшей!?) — для того, чтобы выяснить, правильно ли велось в каждом случае лечение, соблюдались ли санитарно-гигиенические нормы. На стыке юридической и медицинской истин будет установлена степень вины того или иного конкретного работника.

В свою очередь, не дожидаясь окончания следствия и не подменяя его, думаю, не выйду за рамки своей компетенции, предположив, что об истинном положении с инъекциями, если и не знают, то предполагают многие из руководящих медицинских работников и в Элисте, и в Москве, и в сотнях других городов. Надо полагать, принимаются и какие-то меры. Правда, не подлежащие огласке, «для служебного пользования», чтоб не выносился сор из избы, будь он «больничный» или «министрский».

В пользу этого предположения говорят наблюдения и соображения, которыми делились со мной некоторые специалисты. Косвенно подтверждают их и задокументированные факты, позволяющие мне указать источник информации.

Константин Борисович Яшкулов, заместитель главного государственного санитарного врача Калмыцкой АССР, рассказывал, что работники республиканской санэпидстанции неоднократно выявляли и в детской, и в других больницах подготовленные к употреблению нестерилизованные шприцы. О крайне неблагополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии в детской больнице 16 (!) раз сообщала стан-

ция в Минздрав автономной республики, советские и хозяйственные органы; 13 раз (вот уж действительно — «чертова дюжина!») накладывался штраф. Пришло прибегнуть даже к крайней мере: летом прошлого года по требованию санэпидстанции было временно закрыто грудничковое отделение.

В больнице то и дело происходили вспышки гепатита (одна из его форм заносится шприцем), сальмонеллеза (заражение через пеленки). Наконец, такая вот горестная статистика: в прошлом году в больнице умерло 123 ребенка.

(«Пусть живут на солнечной планете...», «активно бороться», «владеять», «содействовать» заклинают стенды в больничных коридорах.)

Знали ли в Минздраве республики о положении в одном из крупнейших лечебных заведений Калмыкии? Безусловно.

Знали о хозяйственных неурядицах и острой нехватке среднего медицинского персонала. Знали о заражении гепатитом и сальмонеллезом. И о крысах в подвальном помещении. И о тараканах на всех этажах...

Из приказа министра здравоохранения КАССР (от 26 февраля 1988 г.): «Во исполнение приказа министра здравоохранения СССР от 19.04.84 «О мерах по устранению серьезных недостатков в работе по охране здоровья детей раннего возраста и снижения ДС» увеличить в республиканской детской больнице количество койко-мест с 345 до 395». (Для справки: «уплотнение» с 300 до 345 мест по приказу Минздрава было произведено годом раньше. ДС — аббревиатура, для

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



удобства общепринятая в медицинском делопроизводстве. Расшифровывается как «детская смертность».)

...Не ставлю под сомнение обоснованность снятия с должностей медичников в Элисте. И Валентина Джаковна Манджиева, проработавшая главврачом более пятнадцати лет, и Лев Бадминович Талкин (снятый месяцем позже), бывший министром более года (а до этого замминистра), и их первые заместители, конечно же, виноваты в случившемся. Но не могу избавиться от мысли: будь на их месте любые другие, все равно случилось бы в точности так, как и случилось.

Из газет. В нашей стране впервые в мире принятые законодательные акты, направленные на охрану здоровья населения, предотвращения заражения вирусом СПИДа... В январе в Херсоне прошло первое в стране судебное разбирательство. На четыре года осуждена молодая женщина за нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах профилактики против заражения вирусом СПИД».

Вспоминаю историю, что рассказала мне Мария Сектеевна Чурюмова. Она исполняет обязанности заведующей самой лабораторией, где 4 ноября прошлого года был обнаружен первый вирусонаситель СПИДа. А затем и все последующие.

...Пятнадцать лет назад Чурюмова, окончив Ленинградский санитарно-гигиенический институт, вернулась в Калмыкию. Работала врачом-эпидемиологом в Приозерном районе, затем в Элисте — в городской, республиканской санэпидстанции. В начале 1986 года, когда в автономной республике сменилось высшее руководство и повеяло перестроечными переменами, она, видя, что в здравоохранительной сфере на перемены эти нет даже и намека, посоветовалась с товарищами по работе и решила обратиться к первому секретарю обкома партии, выскажать все, что наболело.

Записалась на прием. В назначенный день пришла. Ее приветливо выслушал дежурный инструктор, поблагодарил и попросил изложить все письменно.

Так Чурюмова и сделала. Письмо отнесла тому же инструктору (март, 86 г.). Ответа долго не было. Она и ждать-то его перестала, когда неожиданно получила приглашение прийти в обком (август, 86 г.). Ей сказали, что к письму ее партийное руководство республики отнеслось самым серьезным образом. В том смысле, что намечен комплекс мер, которые уже начали превращаться в жизнь. В заключение беседы вновь теплая признательность автору письма и пожелание успехов в работе и личной жизни.

Вскоре Чурюмова получила и официальный ответ из министерства. По смыслу он повторял партийные заверения, но уже с деловой конкретизацией некоторых позиций. Указывалось, например, что в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию плавательный бассейн в новой детской поликлинике, не работавший со дня ее открытия. (К слову, и в феврале текущего года бассейн этот не стал действующим.)

Но не только официальным ответом отреагировал Минздрав Калмыкии. Тогдашний министр Сорокин, вызвав главного врача республиканской больницы («взрослой», в которой в то время работала Чурюмова) Владимира Ларионовича Джимбекова, высказал крайне недовольствование по поводу активности одной из его сотрудниц. Посоветовал внимательно присмотреться, не вносит ли она смуту в дружный, спланированный коллектив...

К чести главврача скажу: не подчинился он воле ministra, увел из-под удара свою сотрудницу...

И еще одна история. Не могу мимо не пройти потому что привя-

заны к ней представители «группы риска», с которой мы, опираясь на международный опыт, изначально связывали возможность распространения СПИДа в нашей стране.

С 1985 года существует в Элисте наркологический диспансер. Располагается он в двух жилых строениях баракного типа: несколько лечебных кабинетов и палат — в одном здании, остальные — в соседнем. Из одного барака, получив квартиры, выехали уже почти все жильцы. В другом — общежитие молодых артистов местного драмтеатра.

Сочувствую им... Но разговор мой о диспансере, возглавляемом Эдуардом Вениаминовичем Варламовым, известным в городе врачом-психиатром.

Уже который год бьется он за поддающее здание, где была вода, канализация, нормальные бытовые условия для тех, кто долгие месяцы лечится стационарно. Куда только не обращалась — в здравоохранительные, советские, партийные органы республики! В Совмин, наконец!

И звезде — изящное отфтболивание...

Лишь после вмешательства министра здравоохранения СССР Е. Чазова (он напрямую обратился к первому секретарю Калмыцкого обкома КПСС В. Захарову) было принято решение полностью освободить бараки и капитально отремонтировать их. А в не столь отдаленном будущем построить специальный корпус для диспансера...

И тут я, возможно, наивно, спрашиваю: почему Чурюмовой понадобилось обращаться к первому секретарю обкома? (До которого, предполагаю, ее обращение так и не дошло, а походило по этажам более низким.) Неужто министр здравоохранения Калмыкии не знал и без Чурюмовой о положении дел в руководимой им отрасли? И отчего же министр вкупе со всей министерской коллегией не мог решить вопрос о помещении для диспансера?

На мой взгляд, наше здравоохранение, более чем какая-либо иная сфера жизни общества, поражено метастазами командно-бюрократической системы. Функционируя в наиболее гуманной, казалось бы, изначально демократической плоскости, система эта обрела наиболее изощренные, утонченные, а потому и стойкие формы.

И никакого парадокса нет в том, что в рамках этой же системы «потемкинских деревень» вырастали выдающиеся ученые, ярчайшие личности, рождались великие научные открытия, складывались школы, и — шло третирование Илизарова, отторжение и преследование Касьяна и других народных врачевателей, творилось беззаконие вокруг «психичек». С одной стороны, создавались (и не на пустом месте) могучие научно-исследовательские и диагностические центры с новейшими методиками, препаратами, аппаратурой, а с другой — снижалась средняя продолжительность жизни в стране, росла детскская смертность.

Парадокс в другом. Командно-бюрократическая система в здравоохранении опиралась всегда на людей, в подавляющем большинстве неординарных. Худо-бедно, но во все времена и на всех уровнях здравоохранением руководили профессионалы. Дилетанты — как случалось у нас в области культуры, народного образования, агротехники, других социальных и производственных сферах — здесь не проходили.

Но тем прочнее, монолитнее оказалось диктат авторитетов, званий, должностей. Тем болезненнее сейчас поддается здравоохранение страны децентрализации, труднее впитывает в себя идеи истинного демократизма, раскрепощенной инициативы.

Мне могут возразить: а Федоров с его офтальмологическими центрами? А клиника в Кургане?.. Все так. Но для этого потребовались гиганты духа, и чего это им стоило! Верно, конечно, что за плечами Федорова, Илизарова, нашего нынешнего министра Чазова вырастут им подобные — врачи, организа-

торы медицины новой формации.

Ну, а пока-то что? Пока бесчисленное количество поликлиник, клиник, амбулаторий (исключая спецзаведения и всю «военную медицину») действует в тяжелейших условиях материальной стесненности и крайней зависимости от вышестоящего руководства.

На любопытный документ (от 14.06.88 г.) натолкнулся я в элистинской детской больнице: больница просит свой Минздрав сделать пересчет сметы на «строительство дворовой уборной на 4 очка».

...Какие уж тут одноразовые шприцы! Их и глаза здесь не видели до нынешнего страшного января.

Недавно собкор «Известий» в Лиссабоне рассказывал, как один португальский предприниматель предложил нам заключить контракт на строительство (в течение года) завода, выпускающего одноразовые шприцы (40 миллионов в год при тридцати рабочих, занятых на производстве). Предложение заинтересовало минздравы прибалтийских республик. Ну, увы — у них нет валютных средств (нужно было полтора миллиона рублей). Союзное же министерство, посыпавшее в Португалию своего высокопоставленного члена коллегии, в итоге отдалось молчанием...

Из газет. На 1 февраля в Калмыкию поставлено 200 тысяч одноразовых шприцев, в дальнейшем их количество будет исчисляться миллионами.

Для справки: суточная потребность одной лишь детской больницы — 6400 шприцев.

Что к этому добавить? Что на строительство канала Волга — Чограй (к настоящему времени законсервированного, но не отмененного, как требует того широкая общественность) Минводхозом СССР израсходовано в Калмыкии 57 миллионов рублей, а у Минздрава нет средств для строительства наркологического диспансера, что с каждым годом осложняется социальная ситуация в автономной республике, растет число наркоманов, что детская смертность здесь в два раза выше среднесоюзной...

Что, наконец, здешние беды отражают беды всей страны, тяжко поднимающейся из брежневского «развитого социализма», а безответственность медсестер — по большому счету не первопричина, а следствие. Тяжкое, преступное, но всего лишь следствие бездуховности системы, приведшей нас и к элистинской трагедии, и ко многим другим, саднящим нашу память.

...В этих заметках я обошел вниманием некоторые сугубо профессиональные, специфические аспекты, связанные с экстренными мерами, предпринятыми в Калмыкии да и во всей стране по борьбе со СПИДом. Об этом много писали газеты, сейчас повторяться не стоит.

В Элисте меня интересовала не столько сюжетная канва происшедшего, сколько социальные возможности изменить саму обстановку, в которой разыгралась трагедия. Нам по силам ее изменить. Это показали действия тех, кто тогда работал не покладая рук. По силам еще и потому, что у нас есть новый Верховный Совет. И от нас всех будут зависеть законы, им принимающие.

Узнал недавно о том, что в белорусском селе Докшицы местный Совет вкупе с колхозом построил прекрасную больницу. Все делали без согласования с «верхами». Министр Чазов, отложив срочные дела, выкроил время, чтобы съездить в Докшицы. Хвалил сельчан за инициативу, самостоятельность, новизну подхода.

— Так можем ведь, можем! — хочется крикнуть, глядя в глаза министров и врачей, профессоров и медсестер, партийных секретарей и инструкторов.

Вот только комок стоит в горле — оттого, что не знаю, как глядеть в глаза детей, оказавшихся зараженными смертельным вирусом...

## ЧИТАТЕЛЬ — «СМЕНА» — ЧИТАТЕЛЬ



Коллектив родильного дома ГКБ № 70 и сотрудники кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ММСИ имени Н. А. Семашко, работающие в родильном доме, глубоко возмущены публикацией в журнале «Смена» № 5 за 1989 год письма Е. Никулиной о безобразиях, которые творятся в роддоме № 70, где она рожала 7 марта 1986 года.

Проверена документация родильного дома за 1986 год. Такая женщина в роддом не поступала.

В последнее время в печати появилось много статей и откликов на них, касающихся работы родовспомогательных учреждений. После последней публикации мы глубоко убеждены, что факты, указанные в подобных публикациях, недостоверны, редакциями не проверены.

Родильные дома имеют свою специфику, и сотрудники редакции некомпетентны в решении вопросов: правы женщины или нет в своих жалобах.

Медицинский персонал тоже хотел бы работать в хороших условиях, хорошо оснащенном родильном доме (достаточное количество белья, мягкого и твердого инвентаря, нормальная работа пачечной, достаточное количество медицинской аппаратуры и медиакамеров).

Коллектив родильного дома категорически настаивает на публичном опровержении опубликованной клеветы и наказании сотрудника, виновного в опубликовании непроверенных фактов.

Коллектив роддома ГКБ № 70.

ОТ РЕДАКЦИИ. Действительно, москвичка Е. Никулина неправильно указала номер роддома — она рожала в 72-м. Поэтому мы приносим извинения коллективу родильного дома № 70. Но в то же время не можем согласиться с некоторыми, на наш взгляд, принципиальными моментами их письма.

После публикации материала «Дита с нимом» («Смена» № 14 за 1988 г.) мы получили сотни писем — откликов от женщин. Практически все они подтверждают то, о чем говорилось в статье: наши родильные дома, за редким исключением, находятся в плачевном состоянии. Антисанитария, невнимательность, а часто и грубость медработников. Многие письма мы опубликовали. И не получили ни одного опровержения по конкретным фактам, за исключением вышеприведенного! Возможно ли на основании одной досадной ошибки читателя делать вывод, что публикации на эту тему недостоверны? То есть, по сути, обвинять во лжи сотни женщин из разных городов Союза?

Наверное, молодые женщины не всегда могут правильно оценить те или иные действия акушеров. Но это тоже говорит об отношении к роженицам: так ли уж трудно объяснить пациентке смысл тех или иных медицинских процедур? Многие жалобы вызваны как раз неинформированностью женщин, особенно рожающих впервые. И последнее — о специфике роддомов. Если эта специфика — тараканы в палатах, грязь, рваное белье, бездушные медперсонала, то и женщинам, и сотрудникам редакции (среди которых тоже есть женщины) не нужны особые медицинские познания, чтобы судить о состоянии дел в роддоме. Уточняем: в данном случае мы не имеем в виду роддом № 70. Но, поскольку эта фраза в опровержении имеет общий характер, мы обязаны были уточнить, на что в основном жалуются молодые мамы. Или, быть может, нам следует возвратить зоны, закрытые для критики?



# БУРЫЕ ОСЫ

Лорен АЙЗЛИ

Есть уголок в зале ожидания одного из больших вокзалов на Восточном побережье, где женщины никогда не сидят. В нем царит вечный полумрак и громоздятся ряды ящиков для хранения багажа. И все же он всегда занят — не столько пассажирами, сколько умирающими. Именно здесь определенный контингент брошенных на произвол судьбы бедных спасается от непогоды, еще часок-другой держась за город, который их породил. Точно так же я не раз наблюдал, как в солнечный день среди зимы старые бурые осы медленно ползают по своему заброшенному гнезду в чаще. Оцепеневшие, покривневшие от мороза и уже ничего не помнящие, они прислушиваются к смутному гудению весеннего улья в своих разбухших тканях. Потом температура падает, и они валятся в белое забытье снега. То же самое происходит и на вокзале. Только что занесенный снегом город продолжает жить своей жизнью. Но бедняки держатся своих мест, как будто эти места сокровенны и не подлежат освобождению. Временами они впадают в сон, и тогда их дряхлые седые головы с мучительной неловкостью опускаются на жесткие спинки скамеек.

Отдохнуть им, впрочем, не удается. Час какой-нибудь они спят задыхающимся сном недоедающих, изнемогших и состарившихся, которым предстоит еще бродить в ночи. Затем приходит полицейский, совершая свой обход, и расталкивает их.

— Спать здесь не положено, — буркает он.

Тогда начинается странный ритуал. Старику трудно расшевелить. После приглушенного разговора полицейский сует ему в руку монету и грозно шествует дальше вдоль скамеек, толкая спящих и указывая им на дверь. Как птицы, вспархивающие и оседающие в кукурузном поле вслед за проходящим фермером, мужчины неуверенно поднимаются, делают несколько шагов и снова опускаются на скамейки.

Один человек, после небольшого, как бы извиняющегося рывка, вообще не двигается. Туберкулезно истощенный, он продолжает крепко спать. Полицейский не оборачивается. Для него это тоже стало ритуалом, и ему не придется официально обращаться на это внимание еще целый час.

Бывает, что кто-нибудь из спящих не просыпается. Как и бурым осам, ему посчастливилось умереть в огромном гудящем центре улья, а не в какой-нибудь конуре. Тут, среди пошаркивания ног, вселяющего уверенность в том, что не ты один в этом мире так несчастлив, не так уж и плохо. К тому же слышны гудки и голоса всех, абсолютно всех, отправляющихся в дорогу. Когда столько путешественников, должен же кто-нибудь выйти на верный путь. Хоть кто-нибудь.

Может быть, с подобной мыслью и бурные осы отрываются от своего старого бумажного гнезда в чаще. Ты держишься до последнего — хотя бы за место общественного пользования на железнодорожном вокзале.

Тебе хочется не столько комнаты или дома, откуда отживших свой век безболезненно выпровоживают из жизни, сколько своего места в улье. Дело именно в месте — том самом, которое в центре всего. Жизни тебе хочется, пусть от нее на седой твоей голове одни шишки — следы жесткой скамейки. Ведь у каждого человека есть право на свое место.

Но бывает и так, что место это теряется в потоке событий или же предстает в виде некоего воздушного замка — туманного привидения над грудой развалин. Мы держимся своего времени и места, потому что без них человека просто нет, как нет и самой жизни. Вот почему голоса, которые доносятся как отдаленный звук трубы на спиритических сеансах, будь эти голоса реальны или нереальны, так волнуют. Это голоса из небытия, и вся сила их состоит в том, что какими-нибудь осколком прошлого они способны задеть нас за живое и вызвать воспоминания. В кабинете медиума живые и мертвые водят бесконечный хоровод вокруг какого-нибудь эпизода, места или события, давно поглощенного временем.

Чувство это сидит глубоко во всем живом. Оно заставляет заблудившихся кошек покрывать огромные расстояния в поисках своего жилья, а почтовых голубей лететь домой с самого края земли. Создается впечатление, что все живые существа, особенно наиболее высокоорганизованные, могут выжить только при условии, если им удастся зафиксировать отрезок

времени, преобразив его в пространство, или же, наоборот, закрепить кусочек пространства, сохранив его во времени и увековечив все присущие ему предметы. Однажды, например, я наблюдал, как полевая мышь пыталась воссоздать в цветочном горшке в моем кабинете запомнившееся ей поле. Тысячу раз разновидности этого эпизода встречались мне на жизненном пути, и поскольку большую часть своей жизни я провел в тени несуществующего дерева, мне кажется, что я имею право говорить за полевую мышь.

Однажды, пересекая поле, тогда еще прымывавшее к нашему пригородному торговому центру, я чуть не наступил на огромного слизняка. Он припал к струйке клубничного мороженого, которое вытекало из недоденного вафельного стаканчика. Его глаза, расположенные на конце щупальца, выпучивались в некоем смутном, неопределенном экстазе, в то время как темное его тело сжималось и растягивалось в изгибе стаканчика. Созерцая слизняка с края бетонной площадки, я невольно подумал: как это, однако, напоминает берег, на который выползла невиданная форма жизни и начинает неуверенно блуждать среди камней и морских водорослей. Она знает свое место и границы не преступит, пока что-то не изменится. Стоя там, я мало-помалу стал более четко различать тот берег, которым окружен род человеческий. С неожиданной заботой и вниманием посмотрел я на божью тварь, какую годами безжалостно переезжал на дорогах. Я даже забрел немного в высокую траву и заросли шиповника, чтобы побольше разглядеть. Огромная пчела с брюшком в черных кольцах прожужжала мимо, в кустах послышалось неясное шелестение.

Тогда я увидел доску с объявлением, извещающим, что на этом месте будет выстроен новый пригородный магазин «Уонамайкер»<sup>1</sup>.

Тысячи неприметных существ будут принесены ему в жертву, споры грибов-дождевиков отнесут как дым в соседние поля, тельца маленьких мышей с белыми лапками будут сокрушены под неумолимыми колесами бульдозеров. Жизнь исчезает или меняет свой внешний облик так стремительно, что все начинает казаться иллюзией — кратковременным кипением и шипением, с клубами дыма, точно в реторте влили химические реагенты. Пока что здесь наступал человек, но не пройдет и десятка лет, как его штукатурка и кирпич снова начнут погружаться в ненасыщенное море клевера. Будучи археологом по натуре, я представил это себе не без тайного чувства удовольствия и побрел обратно через заросли шиповника к стоянке. Впереди меня, испугавшись если не зловещего объявления об «Уонамайкере», то моих шагов, юркнула мышь. Я видел, как она, дрожа всем телом от страха на жгучем бетоне, раскаленном палиющим солнцем, скрылась в направлении моего дома. Ослепленная и дезориентированная, она покидала свое поле. Через неделю десятки других последуют за ней.

Я тут же забыл об этом случае и вернулся в свой тихий кабинет. Только неделю спустя, отперев дверь и войдя в квартиру, я понял, что у меня был гость. Я люблю растения, и у меня в горшках на полу стояло несколько папоротников, защищенных от жгучих лучей полуденного солнца, бьющего в южное окно. Когда я включил свет и машинально оглядел комнату, то увидел на корве около одного из цветочных горшков небольшую кучку земли и беззаботно раскиданные вокруг камешки. К моему удивлению, под самые корни папоротника уходила глубокая норка. Я стал тихо дожидаться хозяина, но он не появлялся. Тут я вспомнил о заросшем поле и о бегстве мышей. Никакая домашняя мышь — никакой *Mus domesticus* — не стала бы раскидывать так землю или искать убежища среди корней папоротника в цветочном горшке. Мне вспомнилось отчаянное маленькое существо, покидавшее заросли шиповника. По какому-то сплетению труб и чердачных лазов один из его сородичей взобрался

высоко, проникнув в эту утопающую в зелени уединенную комнату.

Я живо представил себе, что произошло. В голове у мыши был образ: мир лопающихся стручков и тишины, мир зеленых листьев, под которыми можно укрыться в полумраке, среди стеблей сорняка. Другого мира она не знала, и он исчез. В бегстве своем она как-то пробралась в эту комнату с опущенными шторами, где до наступления ночи никого не будет. Тут она почуяла зеленые листья и быстро взобралась по цветочному горшку, чтобы погрузить свои лапки в обычную землю. До самого вечера пытаясь она вырыть себе норку поглубже, но не успела. Я обследовал ямку, но дергающаяся усатая мордочка не показывалась. Мыши ушла. Я собрал землю и заполнил норку, не ожидая больше увидеть ее следов.

Три вечера подряд, однако, я возвращался в свою затмленную комнату с папоротниками и находил землю, беззаботно раскиданную по ковру, и норку, заново открытую, хотя полевая мышь ни разу не попадалась мне на глаза. Я оставлял пищу около норки, но мышь к ней не прикасалась. Я заглядывал под кровать, а когда сидел и читал, то краем уха слушал, нет ли шелеста среди папоротников. Все было напрасно: мыши я так и не увидел. По всей вероятности, она кончила свои дни в мышеловке одного из соседей.

Но пока она окончательно не исчезла, у меня каждый день теплилась надежда, что я снова найду ее вечернюю норку. Над моими папоротниками стал вить призрачный пар осеннего поля — квинтэссенция, так сказать, мышьего сознания в изгнании. Это была маленькая мечта, похожая на наши мечты, и пронесена она была через всю жизнь, проделав долгий, нелегкий путь через трубы и паутины, мимо ям, над которыми нависала тень подстерегающих кошек, пока наконец, после отчаянного рыва, не оказалась в этой комнате, где мышь порезвилась часок в приглушенном свете, среди зеленых папоротников на полу. Каждый день подобные незримые мечты проходят мимо нас на улице, поднимаются из-под наших ног или пугливо выглядывают на нас из-за куста.

Несколько лет назад старую надземную железную дорогу в Филадельфии снесли, заменив ее метро. Амбароподобные станции надземки, с их автоматами, торчащими орешками, и с вечным сором на полу, прослужили кормовой площадкой не одному поколению голубей, причем в любое время на каждую станцию вдоль пути приходилось, как правило, по одной стае. Сотни птиц жили в полной зависимости от этой системы. Они летали в пролетах между ее железными опорами или собирались в небольшие, пристально за всем следящие группы у ног любого, кто гремел торговым автоматом. Они даже обращали внимание на людей, позывавших монетами в руке, и промышляли под ногами собиравшихся в промежутках между поездами. Мало кто из пассажиров, бросающих крохи усердствующим голубям, понимал, что надземка эта была рекой-коррилией и что жизнь, стерегущая ее берега, зависела от того, исправно ли бегают поезда со своим человеческим грузом.

Я видел, как река эта пересохла.

Настал день, когда туннели были, наконец, готовы; движение переместились в область недоступную голубям, будто великая река вдруг просочилась сквозь пески пустыни. Несколько дней еще голуби продолжали летать вокруг надземки, расхаживать близ красных торговых автоматов. Это были терпеливые птицы, и они понимали, что великая река, протекавшая через жизнь несчетных поколений голубей, конечно же, переживает лишь временную засуху.

Они старались уловить знакомую вибрацию, возвещавшую приближение поезда; окрыленные надеждой, они летали над головой каждого случайного рабочего, идущего по стальным путям; перелетали от одной опустевшей станции к другой, все более остро ощущая голод. В конце концов они улетели.

Я думал, что больше не увижу их около надземки, но они вновь появились, подав любопытный пример того, какую память хранит все живое о полюбившемся месте или образе жизни. Через несколько недель рабочие стали сносить надземку. Каждое утро по дороге на работу я проходил мимо одной станции, пока настал и ее черед. Ацетиленовые горелки обсыпали прохожих каскадами искр, пневматические сверла подрывали основы сооружения — даже слепой с жестью кружкой в руке, державшийся, как и голуби, своего места у лестницы, ведущей к кассе размена денег, вынужден был отойти.

Вот тогда-то, в одно прекрасное утро, я оказался свидетелем мимолетного возвращения небольшой стаи знакомых голубей и даже узнал одну-две птицы из той стаи, что обреталась в районе данной станции, пока их не рассеяло по улицам. Птицы смело сновали среди искр, сверл и орущих рабочих. Они вернулись, ибо грохот подрывных работ убедил их, что река вот-вот снова потечет. Несколько часов носились они взад и вперед через пустые оконные проемы, кивали головами, внимательными глазами следили за тем, как падают железные балки. К утру от станции остались лишь торчащие основы опорных колонн. Мои крылатые друзья исчезли. Было ясно, однако, что в их памяти отложился образ призрачного сооружения, те-

перь уже состоящего из воздуха и времени. Слепой тоже его держался. Кто-то поставил ему стул, и он сидел все на том же углу, глядя незримыми глазами на невидимую лестницу, по которой, как ему казалось, толпы людей продолжали подниматься к поездам.

Я сказал, что жизнь моя прошла в тени несуществующего дерева, поэтому подобные зрелища меня николько не коробят. Я раньше времени превратился в бурью осу и частенько сижу с другими осами в огромном, гудящем улье станции, временами вспоминая об одном дереве. Оно было посажено лет шестьдесят назад мальчиком с ведерком и игрушечной лопаткой в маленьком городке в штате Небраска. Посадил он молодой тополь, который заломился ему благодаря некоторым словам, произнесенным его отцом, а также потому, что все те, кому положено было повременить и состариться в тени дерева, либо поумирали, либо разъехались. Мальчик переходил из рук в руки, но дерево каким-то образом пустило корни в его сознание. Он отдыхал под прикрытием его ветвей; от этого дерева тянулась нить его воспоминаний, уводя в большой мир. Этим мальчиком был я.

По прошествии шестидесяти лет настроение бурь ос становятся сумеречным. Во время продолжительной внутренней борьбы я решил, что мне будет полезно съездить и взглянуть на то самое дерево. Найдя благородный повод, в который можно было облечь свое безумие, я купил билет и в конце путешествия в две тысячи миль прошел пешком еще одну милю к знакомому адресу. Дом не изменился.

Я подошел вплотную к белому дощатому забору и нехотя, через силу, оглядел широкий двор. Никакого дерева там не было. Шестьдесят лет тополь рос в моем уме. Год за годом семена его разносился все дальше горячим ветром прерий. Мы посадили его там с любовью, мой отец и я, потому что у отца была великкая потребность в земле и зелени, а еще и потому, что возможность выхаживать что-то свое появилась у нас лишь недавно. Мы посадили молодое деревце и поливали его аккуратно — не забуду, как в день нашего отъезда я выбежал со своим ведерком, чтобы еще раз напоить его корни. Все последующие годы оно произрастало в моем уме — огромное дерево, навсегда связанное у меня с отцом и с любовью, которую я к нему питал. Я ухватился рукой за забор и заставил себя еще раз поднять глаза.

Мальчик с жестким птичьим взглядом молодости не торопясь подкатил ко мне на трехколесном велосипеде:

— Дяденька, ты чего ищешь?

— Дерево, — ответил я.

— Зачем? — спросил он.

— Нет его здесь, — сказал я в основном самому себе и стал медленно отходить, чтобы не подумали, будто я убегаю.

— Чего здесь нет? — переспросил мальчик.

Я ему не ответил. Было совершенно ясно, что невидимая нить связывала меня с чем-то, чего никогда в жизни не было, а если и было, то очень недолго; с чем-то таким, что необходимо было держать перед собою в воздухе или хранить в памяти, ибо оно служило мне ориентиром в мире, и без него я не мог бы просуществовать. Дело тут было не только в животной привязанности к конкретному месту. Было тут и нечто другое: привязанность духа к определенной расстановке событий во времени, являющаяся одним из признаков нашей подверженности смерти.

Итак, я вернулся домой, движимый памятью не менее решительно, чем полевая мышь, которая когда-то копалась в моем цветочном горшке, или голуби, вечно летающие среди дребезжания автоматов, торчащих орешками. Все это — и норка под растениями в моем кабинете, и краснобрюхие автоматы с арахисом, витающие теперь между небом и землей в головах голубей, — было частью неуловимого мира, которого нигде нет и который вместе с тем есть везде. Я еще раз окинул взглядом окружающий меня реальный мир, а настойчивый мальчик все ехал за мной следом.

Мне все было чуждо, хотя ноги и вели меня ведомой им тропой. За шестьдесят лет и дом, и улица изгладились из моей памяти. Но дерево, которого больше не было, которое погибло в первый же год, продолжало цвести в моем уме, прямое, как слова моего отца: «Мы посадим здесь дерево, сынок, и никогда больше не будем переезжать. А когда ты станешь глубоким стариком, то будешь сидеть под ним и вспоминать, как мы вместе его сажали».

Мальчик на трехколесном велосипеде стал от меня отставать.

— Дяденька, ты живешь здесь? — подозрительно крикнул он мне вдогонку.

Я крепко ухватился за воздушное нечто — точнее, за ствол огромного дерева и сказал:

— Живу.

Я говорил за себя, за одну полевую мышь и за десяток голубей. Все мы были оторваны от жизни и все же в чем-то постоянны. Это мир изменился за нашей спиной...

Перевел с английского  
Дмитрий БРЕИНСКИЙ.



Михаил АНДРЕЕВ

# “...КОГДА ВЕСЬ МИР ВЕСНОЮ БОЛЕН”

Шли по дорогам Нарыма  
По первому белому снегу.  
Шаг вправо, шаг влево  
Приравнивался к побегу.

Страх забивался в гены,  
Словно телок под телегу.  
Шаг вправо, шаг влево  
Приравнивался к побегу.

Жизнь жили без права.  
Писали, строчили в Дело.  
По бесконечным дорогам  
Тени чернели спело.

Яблоки нынче созрели —  
Вот окунуться бы в негу.  
Шаг вправо, шаг влево  
Приравнивается к побегу.

Радости вдоволь. Одеты,  
обуты по моде.  
Бравые песни привольно  
гуляют в народе.  
Только все шепчет за наше спасенье  
старуха:

— Во имя отца и сына  
и святого духа...  
Что еще надо? — Есть у нас всё  
в магазинах:  
Деготь, картофель, неоновый свет  
на витринах.  
Но еще пуще твердит  
пред иконой старуха:  
— Во имя отца и сына  
и святого духа...

Талой весной чернозем  
раскидают на поле.  
Трактором вспашут.  
Ростки просочатся  
на волю.  
Будто не слышит весны,  
все бормочет старуха:  
— Во имя отца и сына  
и святого духа...

Что же ты молишь? Что сотворили  
мы злого?  
Любим мы лес. Почитаем хорошее  
слово.  
Что же случилось? Что с нами будет,  
старуха?  
— ...во имя отца и сына  
и святого духа.  
Что еще надо? Небо. Россия.  
И озимь.  
Первый автобус до Томска  
отправится в восемь...

Волнуется душа у нас,  
Когда весь мир  
весною болен.  
От всех она  
скрыта глаз,  
И ты перечитай ей не волен.  
Когда лениво, не спеша  
Зима  
заполонит равнины,  
Приветствует опять душа  
Снегов холодные лавины.  
Когда же солнце будет мыть  
Свои лучи  
у переката,  
Ей назначено:  
просто быть  
И длить сияние заката.

## МЫСЛИ ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ

Ветер гонит по дороге листья.  
В моем ранце ветер перья студит.  
Пролетарии всех стран,  
соединяйтесь.  
Потому, что людям лучше будет.  
Думаю, как сделать мне скворечник.  
Для скворцов из досок домик —  
сладость.  
Больше всех люблю на свете небо,  
Потому, что небо — это радость.

## ЖИЗНЬ — ВЕСЕЛАЯ ГРУСТИНКА

Жизнь — веселая грустинка.  
На письме —  
Нарымский край.  
Догорай, моя лучинка.  
Что поделать, догорай.  
  
Пуще всех грустны осины  
На распаханных полях.  
Потому что вечер длинный  
В наших северных краях.  
Жизнь — как  
на окошке льдинка —  
Запорошена судьбой,  
Полюшко для поединка  
Междун небом и землей.  
  
Что ни шаг —  
на небе птица.  
Что ни вечер —  
кавардак.  
С черным хлебушком  
горчица  
Расфасована за так.  
  
Жизнь — ты верная  
до гроба.  
Жизнь — ты так всегда  
проста:  
Два притопа,  
три прихлопа,  
И еще раз, и сполна...

## В МАГАЗИНЕ

Не мог смотреть я на картину,  
Где сына грозный царь убил.  
Затоходить по магазину,  
Где все для дома, я любил.  
  
В нем было очень много смысла.  
Братались разные миры.  
Вам продавались коромысла  
И цепи от бензопил.

Я пробирался с вдохновением  
Через толпу людей порой  
Туда, где есть приспособление  
Для сбора ягоды лесной.

В отделе для шаров воздушных,  
Где воцаряла бирюза,  
Куда вели детей послушных,  
Я уносился в небеса.

Я изучал мир постепенно.  
Я жадно этот мир любил.  
И смирно, как военнопленный,  
В отдел другой переходил.

Плясали за окошком дали.  
Шумели томские леса.  
Запомнили меня и ждали  
Берестянные туеса.

Над этим всем с тоской напевной  
Шумел космический простор.  
И как корона на царевне  
Был свежевыкрашенный пол.

## НОЧЛЕГ

По осиннику, по молодому...  
Потеряю дорогу к дому.  
  
А под вечер посыплется снег.  
Постучу в дальний скит на ночлег.  
  
Молча там мне постелят в углу  
На некрашеном чистом полу.  
  
И за чаем прибавится сила.  
Я скажу: — Перемены, вот диво.  
По стране! И возврата нам нет.  
— Не сменить бы нам шило на  
мыло.—  
Мне старик пробормочет в ответ.  
И добавит: — Оно! Государство!  
Государственные в нем дела.  
Принеси-ка вон лучше лекарство.  
Дай старухе, чтоб до-о-олго жила.

## КОЛЬСКИЙ ПОЛОУОСТРОВ

Когда кончается витамин С  
И полуостров бедствует,  
Принцип: от каждого  
по способностям —  
Совершенно не действует.  
  
И человек бывает, как мел,  
И тонкий, как стручки акации,  
И не спит по ночам отдал  
Пропаганды и агитации.  
  
Солнце по небу катится.  
Ласточка в травы летит.  
И почему-то кажется,  
Свет все равно победит.  
Ты — мое счастье редкое.  
Ты — мой непройденный путь.  
Жуткая. Гордая. Меткая.  
(...нужное подчеркнуть).

Светит речки изгиб.  
Плытвем по спинам рыб.

Бьется газета в волне.  
Фраза  
голову студит:  
В следующей войне  
Победителей не будет.  
  
Плачет кулик на болоте —  
Нет силы слаще в природе.

## ГЛУХОМАНЬ

Дома в сугробах темных тонут  
И, разбивая сладость снов,  
В оградах  
проводники стонут  
С цепями  
осторожных псов.  
Бытует быть и небылица.  
И настоятельно  
в обед  
Дается мерзлая кислица  
К столу  
уже две сотни лет.  
Там, погруженная в мечтанья,  
Спит глухомань  
на тыщи верст.  
И есть местечко для свиданий  
В окне  
толпе бессонных звезд.  
Там жнет народ и ладит сани.  
И песни гордые поет.  
Не грубой силой, а мечтами  
Путь пролагает он вперед.

■  
Внутри холодного ствола  
В молчанье  
теплится смола.  
И токов  
гордое движенье  
Сильней земного притяженья.  
  
Под влажной грубою корой  
Не суетится мир иной.  
Там что-то тайное  
зовет,  
Без имени, внутри, живет.  
  
Оно играет и чудит  
И лист весною  
зеленит.  
...Нерукотворно торжество,  
И в этом наше с ним родство.

## ЭЛЕГИЯ

Когда заката медленный —  
премедленный  
венец  
Прекрасно виден прямо над буграми,  
Для поддержанья красных  
кровяных  
телец.  
Люблю дышать сосновыми борами.  
  
Там можно видеть каждый день  
подряд,  
Прогуливаясь, удивляясь лету,  
Как паутины меж деревьев  
колесят  
И пауку служа, и воздуху, и свету.  
  
А повезет, увидишь дикий  
след лесной  
И вспомнишь, что велик наш мир  
и славен.  
Увидишь, как, преследуя добчу,  
егерь молодой  
Опять неправильно загонников  
расставил.

## ПЕРЕБОР ИЛИ НЕДОБОР

Как бы ты ни старался с утра,  
ни потел,  
Как бы ты ни молил, ни вопил,  
ни пыхтел,  
Один результат был до сих пор —  
Или перебор, или недобр.  
  
Как бы ты ни высчитывал,  
ни примерял,  
В уме ни прикидывал, мазь  
ни менял —  
В жизни случается до сих пор —  
Или перебор, или недобр.

Как бы ты ни пытался  
науку познать,  
Как бы в гору ни полз,  
словно вол,  
И семь раз отмерил, но опять —  
Или перебор, или недобр...

■  
Сколько клюквы в российских  
болотах,  
Ночью вспомнишь — и спать  
неохота.  
  
Эту ягоду медленно рвешь  
И, корзину пока насираешь,  
Много разного переборешь  
Передумаешь, перестрадаешь.  
  
...Не хожу я туда потому —  
Тяжело выносить одному.



# ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ!...

Александр  
ДЕГТЯРЕВ

Владимиру Афанасьевичу Овчинникову нет еще и пятидесяти, а перед вами уже лежит первая отечественная заметка о его творчестве!

И это несмотря на то, что он впервые участвовал в выставке вместе с тремя друзьями-художниками он устроил выставку по месту своей работы. Местом работы был Эрмитаж, где все четверо служили такелажниками, развшивали великие полотна, и как-то, оставшись сверхурочно, развесили в служебной комнате свои. Эту «такелажную» выставку, естественно, тут же с крупным (в духе времени) скандалом закрыли, в последнее время часто вспоминают в связи с приездом Михаила Шемякина, который тоже был одним из четырех.

Многое случилось и утекло с той давней поры, первого короткометражного эпизода жизни художника. В конце 60-х — начале 70-х Владимир Овчинников — активный и непременный участник неформальных выставок, небанальных по существу и батальных по форме. Смысл запретов,

которые налагались на его картины, сегодня уже необъясним, это была одна из нелепостей нашей культурной жизни, когда облеченные званиями и конторской властью знатоки умели объявлять «формализмом» и вызывающую беспредметность (которая формы вообще несет), и нарочитую предметность, больше, чем многим, свойственную Владимиру.

В стиле Овчинникова органично сливаются несколько очень разных ручьев-традиций отечественного искусства и возникает новый, уже непохожий на них, безошибочно узнаваемый — стоит только раз увидеть его картину среди сотен других.

Проступает в его полотнах и острые социальность передвижников, и идущее от Гоголя пристальное внимание к «маленькому человеку», который, если брать по большому счету, есть главный персонаж всей земной жизни. А если говорить о форме, то здесь прочитываются традиции русской иконописи (с ее отстраненной статикой, выверенной законченностью, предельно резким фо-

кусом), которые непостижимым (но тем не менее постигнутым!) образом соединены с линией, счастливо найденной и осуществленной К. Малевичем. Вспомните его «Жиц», «Лесоруба», «Марфу и Ваньку», «Уборку ржи», другие полотна этого ряда. Сравните с картинами Овчинникова, и в этом сравнении проглянет и откроется вам новый виток бесконечной спирали, по которой восходит к вершинам духа наше искусство.

Знаток-искусствовед может рассмотреть в манере Овчинникова еще и влияние европейского Северного Возрождения XV—XVI столетий, и воздействие недалекого ленинградского неоакадемизма, и отсветы позднего Филонова.

Но при всех влияниях Владимир Овчинников — самобытный и оригинальный русский художник последней трети XX века, продолжатель и хранитель отечественных культурных традиций, прежде всего изначально присущей российскому искусству гражданственности.

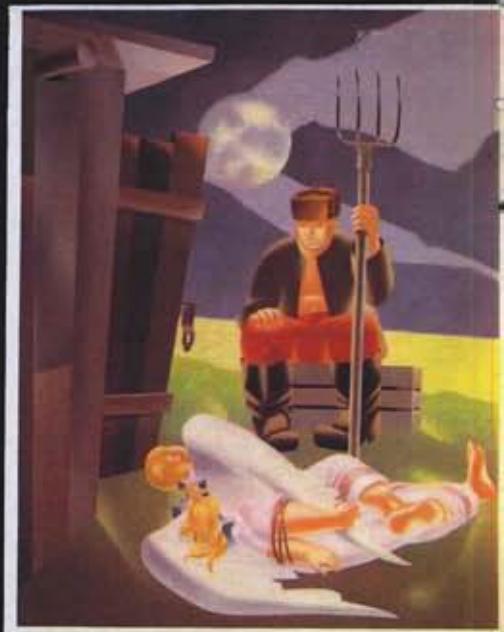
Глубокая культурная традиция ясно видна и в другом. На полотнах

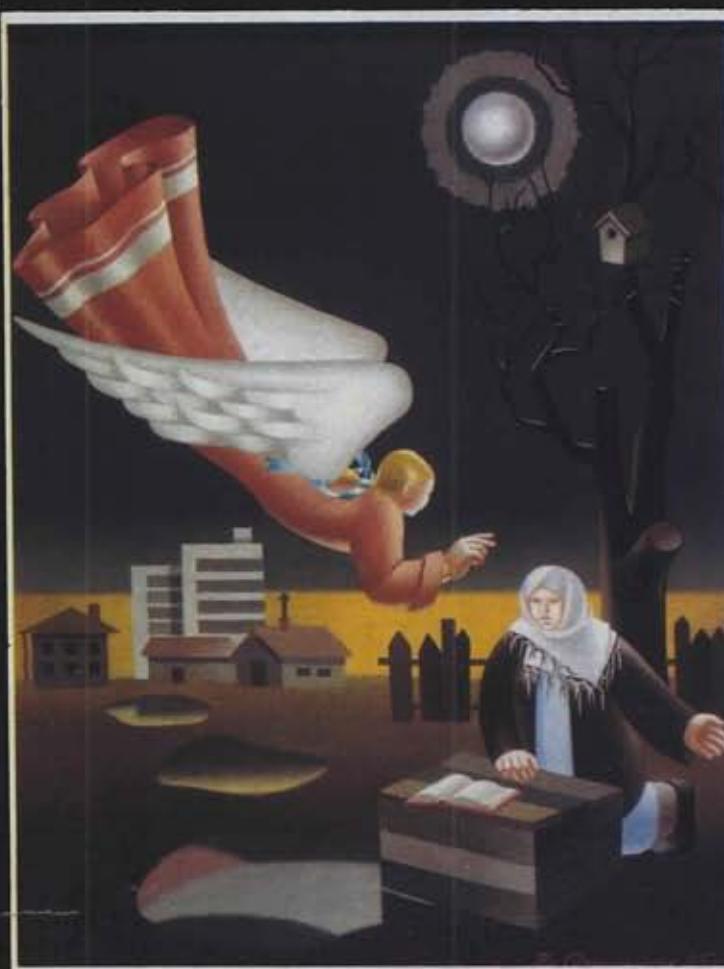
На переезде.

Овчинникова нередко появляются герои античных мифов, еще чаще — библейские персонажи, хотя главный сын его героев, конечно, наши современники — псковские крестьяне, жители уездных российских городов и удаленных ленинградских районов, цыгане, дети, солдаты, демонстранты, пенсионеры и другие неофициальные лица.

Его картины внешне просты, а простое, казалось бы, не рождает вопросов. Но внешняя упрощенность холстов доведена до такого предела, за

Связанный ангел.





Благовещенье.



Красный утюг.



Рыбаки.

которым открывается новое неведомое качество, вдруг появляется море волнующих разум и душу вопросов и стремительно вырастают в сознании ветвящиеся ассоциативные деревья. Простота холста предстает как морская поверхность, под которой скрыты километровые таинственныетолщи, неизмеримая сложность жизни.

Какущейся несложностью, даже скрупульностью художественного решения удивляет, к примеру, «Давид». Победитель, совершив подвиг, вернулся к родному порогу. Он встречен покосившимся от времени крыльцом, заколоченной дверью... Подвиг его, оказывается, не нужен никому! Никто его не ждал или, может, уже не мог ждать. Трагедийный момент возвращения... Но тут же врезается в него гротескный слэнговый момент — в руках у Давида не голова великан Голиафа, а кочан! Значит, не было сражения и победы, потому и не ждет никто героя? Нет, было, видимо, и то, и другое — ведь в другой руке гигантский меч Голиафа. Да и офицерская портупея, расчерчивая коренастую славянскую фигуру, доказывает, что перед нами военного дела человек... Такая вот цепь подтверждений-отрицаний, шаг за шагом углубляющая всякому известный сюжет.

«На переезде». Еще большая графическая простота, грозящая вот-вот превратить картину в чертеж. Но чего ждет ангел, сидящий на переезде? Если перехода, то давно уже



Давид.

# "БОЛЬ КОРОТКИ"

**В № 24 журнала за 1988 год был опубликован материал «Боль коротких встреч». В редакцию пришло много писем-откликов. Разных. В одних — коротенькие, в полстранички, благодарности за поднятую тему, за то, что вспомнили тех, кто хлебнул военного лиха, оказавшись в юношеские, а зачастую и в детские годы в фашистской неволе.**

**В других — многостраничные, искренние, не оставляющие равнодушным воспоминания.**

**В третьих — сочувствие, участие, желание и готовность выслушать и помочь.**

**Разные письма. И только одно с резким осуждением тех, кто, выйдя замуж, остался в Бельгии.**

**Невозможно опубликовать все отклики. Поэтому предлагаем вашему вниманию только некоторые, наиболее характерные из них, не бера на себя право оценивать или судить.**

**Спасибо за ваши письма, за вашу память.**



Много горя и мучений испытала я в годы войны, особенно в плена у фашистов. Но сейчас я хочу сказать о другом. Почему и до каких пор будут умалчивать у нас о неискриминных жертвах — жертвах невинных?! Почему и до каких пор, мы, бывшие узники фашизма, будем ждать реабилитации? Почему и до каких пор в наших биографиях и биографиях наших детей будет подчеркиваться графа: «был или была в оккупации?», «находился в плена», «жил за границей»? Почему я всю жизнь живу в страхе не только за себя, но и за детей? Почему я до сих пор чувствую себя выброшенной за борт?

Мария КУЛЕШОВА,  
Павловск Воронежской обл.



Я попал в окружение под Сталинградом, прошел немецкие концлагеря, не раз бежал, в Италии участвовал в партизанском подполье, в освобождении Венеции.

После победы мы уехали на Родину. Но мой путь домой был долгий — через холодную Колыму. Грубо говоря, сталинская Родина отвернулась от нас, большинство бывших военнопленных, угнанных в немецкое рабство, попали в сталинское рабство в Сибирь и на Север. Мало кто остался жив: с Колымы почти не возвращались. Много там было и девчат, вернувшихся из Германии. Вот и напрашивается вопрос: так кому было легче — тем, кто остался на чужбине, или тем, кто прошел через сталинские лагеря? Это и ответ — почему не вернулись на Родину многие женщины. Думаете, я себя не спрашивал на Колыме — зачем приехал?

В. Ф. ДЕГТЯРЕНКО,  
Канев

Когда пришли немцы, был декабрь, холод. Выгнали нас из дома за полночь. Что можно было взять с собой за это время? Почти ничего. Пошли к сестре в город Снежное Донецкой области, жили у нее до марта, пока туда не пришли немцы. Снова нас выгнали. Пешкомшли до Запорожской области. В мае остановились в селе Маленькая Белозерка. По пути — шли более трехсот километров — голодали, променяли все вещи, что брали с собой. Просили милостыню.

Смутя ненадолго залетные птицы-легенды. Но мы овладеем собой. За словом в карман не полезем. К чему слова?! Смотрите молча.

А в мае приходят два полицая, один

из них русский, говорят: «Ты приезжая, тебе в Германию уезжать». Мне было 17 лет. Ехали две недели, в июле 42-го привезли нас в Германию, отстригли волосы, осмотрели руки и повезли в город Крефельд на шелкоткацкую фабрику. Жили мы в бараках за колючей проволокой по 360 человек. Ходили под конвоем. Так было целых год. На второй стало чуть легче. Освоились как-то, я организовала драматический кружок, написала пьесу, стали мы выступать перед своими. А работали мы, русские, по 12 часов. К тому же после этого нас гоняли набивать матрасы для бельгийцев. И все же были у нас — откуда? — силы, чтобы выступать, чтобы петь. Потом познакомилась с будущим мужем. Мы с ним два года работали рядом. Я сначала считала его немцем, боялась, молчала. В 45-м году фабрику разбомбили, нас стали готовить к эвакуации. Роже мне говорит: «Катя, немцы при отступлении вас к стенке поставят. Поехим со мной в Бельгию». И когда стало опасно, он помог нам с подругой спрятаться в бане, в баке для воды. Потом пошли мы пешком в Бельгию.

Горько вспоминать эти годы, голод, лишения, страх. Но были среди немцев и хорошие люди, помогавшие нам. Помню одного доброго старика. Он принес термос, подкармливал нас. Но было много и злых, ненавидевших пленных, особенно нас, русских. Помню и первую линию американцев, освободителей. Пьяны, веселые.

Роже посоветовал мне не говорить, что я русская, так как с русскими обращались грубее. Сказала, что я голландка. Документов-то не было никаких.

Помню первый горячий обед после трех голодных лет, помню хлеб с вареным, который нам дали после обеда, видно, будущий это всю жизнь.

Нас задержали в Льеже, потому что я все же назвала свое настоящее имя. Проверяли, выясняли. В конце концов добрались до дома мужа. Снова незнакомые люди, незнакомая речь. Одеться не во что, страшно, потому что кругом чужие, непонятные люди. Надо было идти работать, не сидеть же на шее у родни мужа. Пошла работать в прислузы...

Письма домой я писала все время, даже из Германии, но ответа не получила ни разу. Но очень хотела вернуться на Родину. Стала снова писать туда, где жила, туда, откуда нас забрали. Но немцы все документы сожгли. Семья мужа приняла меня хорошо и помогала искать своих. В 49-м году через подругу разыскала родителей, а в 1957-м съездила домой.

Жили мы с мужем хорошо, но девять лет не было у нас детей. Я переживала, говорила: не будет детей, уеду домой. Но у нас родился сын.

Три года я не работала, сидела с сыном дома. Говорила с ним по-русски. Он говорил уже неплохо, но, когда стал старше, не хотел больше учить мой родной язык — не было времени. А я настаивала, старалась убедить его, что он должен знать родной язык матери. В университете он добровольно стал изучать русский и вот уже пять лет работает представителем бельгийской фирмы в Москве.

Когда уезжал в Москву, сообщил об этом с радостью. Я и радовалась, как русская женщина. А как мать, как каждая мать, разлучавшаяся с сыном, страдала. Сын прилетает к нам несколько раз в год. У него растут дочки, мои внучки — Катрин и Ине.

В жизни всяческое бывает. И радости, и горести, и муки. И нам пришлось через все пройти. Помню, как у моей свекрови, когда мы только приехали, спрашивали: ваш сын привез русскую, а какие у нее глаза — зеленые или красные? «Красные», — говорил муж этим острозвоном. Я благодарна ему, свекрови, многим в Бельгии — за чуткость, за доброту и поддержку.

Е. Л. КАМЫШАЦКАЯ  
Бельгия, г. Брааскат



Сорок восемь лет прошло с тех пор, когда я почти ребенком попала в Германию, в город Бремен, и сорок пять лет ограничений, общих с тех пор, как я вернулась домой! А за что? Может ли человек противостоять той страшной силе, в руках которой оказались люди, оставленные армией, беспомощные, беззащитные? Тем более такие молодые!

Мне было 13, а сестре 16 лет, когда нас родители из-за бесконечных бомбежек отправили из Харькова к бабушке в Курск. Как-то зимой на требование старости идти на расчистку дорог для немцев сестра сказала: «Обуй меня сначала». И тот ответил: «Ничего, я тебя обую». В результате сестра была вынуждена скрываться, ушла в Воронеж, а меня вместо нее отправили в Германию.

Господи, сколько было пережито за эти три года! Я уже не говорю о холодах, голоде, унижениях, отчаянии, страхе во время бесконечных бомбежек в запертых снаружи на замки бараках с решетками на окнах. Я мучительно страдала по дому, по Родине все три года, особенно после окончания войны. И не знаю, как бы я поступила, если бы человек, который пожалел ту худенькую девочку с язвами на руках, с прогрессирующим малокровием на фабрике по обработке дерева в Бремене, с необыкновенным благородством, тактом, человечностью спасал ее от яной смерти, а потом так глубоко и нежно полюбил ее, остался жив? Каждую удобную минуту он выполнял работу за меня, делал всем, что получал из дома и от Красного Креста. Он незаметно учил меня доброте, благородству: не только получать, но и умению оделять других. И этому человеку (он был француз), когда мне исполнилось 17 лет, я дала

# IX ВСТРЕЧУ"

слово, что после окончания войны стану его женой. До этого он не имел права взять меня под руку. Он был старше меня на девять лет, до войны окончил Парижский университет, был офицером, попал в плен, в 1944 году — в концлагерь, выжил и мечтал жениться на мне. А в марте 1945 года погиб. Погиб в огне и его адрес, погибло кольцо с его и моими инициалами (оно спадало с моего пальца). Осталось только его имя — Жак! Но он прошел рядом со мной всю мою жизнь. И всю жизнь меня мучила мысль, что я не могла написать его матери (а ведь она знала обо мне, ее перчатки грели мои руки), не могла написать теплые слова благодарности, написать, какой необыкновенный был ее сын, какой был друг, какой товарищ для всех, кто его окружал.

И я не обвиняю тех девушек, которым в той жуткой тьме жизнь подарила любовь, и они не предали ее, хранив сердце любовь к Родине.

СОКОЛОВА,  
Курск



Не пора ли сказать во весь голос правду о миллионах людей, которые, попав во время войны с Германией в плен, не вернулись домой? С тяжелой рукой «отца нации» им приклевали клеймо изменников Родины. Ни один здравомыслящий человек их не осудит, потому что всем возвратившимся из плена уготовано было десять лет лагерей. За что десять лет? За то, что не выполнили нелепый приказ и не пустили себе пулю в лоб? Многие попали в плен не в последнюю очередь благодаря военным просчетам «вождя». Конечно, среди пленных были изменники, но не стоят равнять всех под одну гребенку.

Иногда в прессе появляются статьи на эту тему, как, к примеру, «Боль коротких встреч» в № 24 «Смены». Но этого мало. Давно пора, по-моему, снять все эти «звания» и дать возможность привезти всем бывшим военнопленным домой без всяких ограничений.

МАНУХОВ,  
Цимлянск Ростовской области



К началу войны я окончила медицинское училище, полтора года работала фельдшером в селе Привольное Лисичанского района. Во время войны переплыли меня в другое село помочь нашим войскам. Мы лечили больных и раненых. Работала я вместе с другими девушками. Выдали нам военные билеты, и мы двинулись к Дону вместе с войсками. Переправу бомбили так, что не подойти. Лежим в поле, дрожим. Самолеты летают беспрерывно. Встала я после этой бомбёжи одна — остальных убили. Меня ранили в ногу. Нашла свою часть. Рана болела, я еле ходила. Уже далеко от Лисичанска, километрах в 380, окружили нас немцы. В каком-то погребе переоделась, закопала военный билет, пошла дальше. Дошла до дома. Семья наша — сестра с детьми, мама — уже распалась, но маме с трудом удалось найти детей. А кругом немцы. Нас заставили работать на кухне. Были в этой части немецкие коммунисты, антифашисты. Пытались облегчить нашу жизнь насколько можно. А в по-

гребе у одной моей подруги скрывались партизаны. Сидели там днем, а ночью уходили в лес. Мы их старались кормить — то сало бросим в окно, так, чтобы немцы не заметили, то картошки передадим. Работали и в итальянской части, стирили.

А однажды приказали нам собрать вещи и повели на станцию. Четырнадцать дней везли в Германию. В лагере нас рассортировали, и оказались мы на фабрике Кабельверт. Три года там работали. Незаметно старались делать брак, помогали друг другу, выручали как могли. Нас, русских, кормили хуже всех. Я работала на машине, и у меня все время были кровотечения — от тяжелой работы, жары, голода. Бельгийцы, работавшие рядом с нами, возмущались. Даже в СС, когда мы протестовали против такой скучной кормежки, признали, что с такой пищей работать невозможно. Это спасло нас от наказания за бунт.

10 апреля 45-го года я вышла замуж за бельгийца, а 16 апреля нас освободили американцы. Стали мы с мужем решать, куда ехать: в Бельгию или в Россию. Каждому хочется к себе домой, на родину. Спорили, спорили, стали тянуть жребий. Вышло — в Бельгию. Ладно, говорю я мужу, поедем в Бельгию, посмотрим, а потом — в Россию. В это время я уже так сильно болела, что одна и ходить не могла.

Приехали к мужу домой. Свекровь встретила не слишком ласково: больная — какая я работница? Расстроилась я, собираю вещи, хочу ехать в Брюссель и домой, а муж свои вещи — со мной ехать. Свекровь — в слезы. Решили лечить меня — нашли деньги на лекарство. Долго продолжалось лечение, много я перестрадала. Наконец, встала, пошла работать. Что я могла тогда? — шила тапочки. За что, не помню, меня ударила мать хозяина. Я наорала на нее, не стерпев. Выгнали. Пошла работать к дяде мужа. Родственники мужа старались меня подкорить — я ведь худощавая была, да и слабая. Мучительно было воспаление зубов после истощения.

Но жизнь все же налаживалась. Взяли суду в банке, стали строиться. А домой я стала писать сразу же. Первое письмошло 10 месяцев, с мая 45-го. Получила я и ответ, но поехать было невозможно — действовали какие-то запреты. Только в 61-м получила разрешение. Поехала к маме в село Малковка Прилученского района Черниговской области. Какое же счастье испытала я, когда пересели мы в советские вагоны. В дороге люди помогали, были приветливые, отзывчивые — понимали мое состояние, мои чувства, мою боль. Ведь я 19 лет не была на Родине. Вышла с вокзала, а таксисты не берут меня. Я стою плачу. Подошел военный, спросил, потом взял такси. Подъехал к дому, сижу в машине. Вижу, мама вышла во двор, к умывальнику. Увидела меня, закричала, бросилась в хату: «Оля приехала». Родные выскоили, кричат, радуются. Все плачут, обнимаются. А мама все рядом потом сидела, не отпускала меня ни на минуту, смотрела на меня, глаз не спуская...

Жизнь складывалась нелегко. Годы плены сказались на здоровье. Мы с мужем часто болели. Замучили бронхиты. Лет 5—6 я постоянно болела — легкие были не в порядке. А муж болел полтора года и умер.

Почему мы не вернулись на Родину? Все непросто. Ведь было много разных пугающих разговоров, слухов. Боялись, хотя ни в чем не были виноваты.

Ольга БАРАНОВА,  
Бельгия, г. Бом



Мы с мамой попали в облаву 27 апреля 1943 года, и начался наш долгий, трудный путь через разрушенные города и села в неволю. Привезли нас в Италию, горя мы испытывали много — вспоминаю страшно и больно. В мае 1946 года нам удалось добиться возможности возвратиться на Родину, и хотя дома у нас не было, но было счастье возвращения на свою землю. Приехали мы к родственникам в Донбасс, но там в это время был страшный голод, карточек продовольственных нам, конечно, не дали, и после проверки в органах МГБ и получения трехмесячного паспорта мы с мамой уехали на Западную Украину. Вскоре я вышла замуж за военного врача, окончила десятый класс вечерней школы, и когда муж уехал учиться в аспирантуру в Ленинград, переехала к нему. Осенью 1950 года поступила учиться в педагогический институт на романское отделение (испанский и французский языки). Сдала я вступительные экзамены на пятерки, но в течение трех месяцев «сталинский сокол» из отдела кадров института не выдавал мне студенческий билет, и только благодаря вмешательству начальника районного отделения милиции по месту жительства студентский билет мне выдали.

...Свыше тридцати лет я проработала переводчицей в одной из военных академий. Сколько же унижений и уиков от различных официальных лиц, да и просто от людей пришлось перенести мне: как же, ведь я была в оккупации, я — репатриантка. Даже сейчас, по прошествии многих лет, я — член КПСС и ветеран труда — ощущаю в себе какую-то неполноту при воспоминании о многих и многих неприятных, а то и страшных моментах времен «сталинщины». Несмотря на то, что я заслужила своим добросовестным трудом, высоким профессионализмом переводчицы и общественной работой правительственные награды и благодарности, в душе сохранилась горькая обида за те годы недоверия и унижений, что пришлось пережить.

Н. К. КУЛАКОВА,  
Ленинград



Прочитала в № 24 «Смены» за прошлый год очерк «Боль коротких встреч» и решила написать. Простите за правду, но я буду писать о том, что думаю и как живу. Я тоже была угнана в Германию. Знаю, что такое колючая проволока, концлагерь Дахау, карцер. Знаю, как строили дороги на человеческих костях вместо гальки, работала на стеклофабрике в Тюрингии. Как же было тяжко! Непосильный труд по шестнадцать часов в сутки, баланда из сухой капусты с червями, брюква — вот и вся еда. Знаю, что такое унижение и оскорблечение человеческого достоинства. Мы были не люди, а «русские свиньи».

17 апреля 1945 года нас освободили американцы, предлагали и нам, молодым, и любовь, и новую родину. Но... Но я так думаю, что есть два сорта людей — сильные духом и слабые. Вот слабые и искали, где бы полегче, чтобы чуть-чуть оттаять душой. Они не думали в то время о Родине, думали только о себе, а позвролев, пожив, поняли, что такое Родина, ностальгия по Роди-

не. Я не раз встречала таких людей, которые, приезжая на Родину, целовали землю, а потом возвращались в свои зарубежные благоустроенные гнезда. А мы, сильные духом, без размышлений ехали тогда домой, на Родину. Точнее, шли. Шли пешком сотни, тысячи километров — домой, домой, домой. Нас агитировали американцы и англичане, в дороге пытались уничтожить банды бандеровцев, но мы знали: нас ждет земля, где мы родились. Земля, где похоронены наши предки. Земля, которая нуждалась в наших руках после разрухи. В двадцать два года я была седая и без зубов, меня не узнала даже мами...

Я не осуждаю оставшихся женщин. Значит, у них была возможность думать о любви и замужестве в то время. Только с такими я бы в разведку не пошла.

Е. Г. БАРВИНКО,  
Новая Каховка



Решила написать, чтобы наша молодежь знала, помнила о том, что выпало на нашу долю, на наши молодые годы.

Когда немцы стали угнать в Германию молодежь, матери старались спрятать детей, но нас ловили, загоняли в вагоны и увозили. Схватили и меня. Привезли нас в город Вупперталь, раздели, дали на ноги колодки без всяких чулок, юбку в клеточку, куртку, на спине написали крупными буквами ОСТ. Потом перевезли в концлагерь, обнесенный колючей проволокой под током. Четырехъярусные койки, один матрац с соломой — и все. Утром выгоняли на работу в карьер: труд был непосильный, нас жестоко били. Вечером мы возвращались с работы чуть живые, и тех, кто падал, вывозили в крематорий и сжигали.

Три с половиной года на чужбине над нами издевались как хотели. Мне кажется, только наша русская молодежь может вынести такие страдания. В 1944 году под 8 марта мы сделали подкоп — рыли всю ночь — и нам удалось убежать. Но сработала сигнализация, за нами гнались с собаками, поймали. Все тело было иссукоано, истерзано собаками. Меня таскали за волосы. Прошло сорок с лишним лет, а волосы не растут на этом месте — все с корнями вывали. Пишу вам, а сама плачу. Все шрамы остались — так нас били. А было нам по 16—17 лет.

Наконец пришел день освобождения. Наш лагерь освобождали американцы. На каком-то складе переодели и начали вербовать нас, пугали, говорили, что нас дома расстреляют. Кто-то уехал в Америку, некоторые — в Бельгию. Я твердо говорила, что поеду домой, к своей матери. Да, американцы оказались во многом правы. Приехала я домой, и лет десять терзали мне душу, вызывали в КГБ, брали отпечатки пальцев. На меня смотрели как на врага народа. Никуда не брали учиться. Жили мы в страшной бедности. Отец вернулся с войны инвалидом, работал конюхом. Мать — уборщица. Ужасное было время — опять страдания, муки. Я жалела, что не уехала в Бельгию. Через 10—15 лет стали показывать фильмы и писать о концлагерях. Стало легче. За что же нас считали преступниками? За что? Разве мы виноваты, что оказались на оккупированной территории, что нас угоняли в плен, как скот?

Больше всего на свете желаю всем мира. Мира и счастья.

Бывшая узница концлагеря  
Елизавета Ивановна СЛЕСАРЕВА,  
г. Шахты Ростовской области

Этот самолет  
управляется по радио.  
За минуту до взлета...

ВВОД ПАРАМЕТРОВ

N = 1 НАКЛАСС  
M = 0 СР. ЗНАЧ  
O = 0 СР. КВ. ОТКЛОНЕНИЕ  
P: РАЙОН →  
X: ХОЗЯЙСТВО →  
K: С/Х КУЛЬТУРА →  
T=101 № ПОЛЯ  
# ВВОД ПАРАМЕТРОВ

На экране  
дисплея —  
будущий урожай.



## Виктор АНТОНОВ

Фото  
Евгения АЛЕКСАНДРОВА

**С**лова из бесхитростной песенки о летчиках вспомнились мне на борту «аннушки», поднявшей в кубанское небо бригаду Северо-Кавказского филиала Всесоюзного научно-исследовательского центра «АИУС» (автоматизированной информационно-управляемой системы) «Агроресурсы». Кроме нас, в самолете — штурман Виктор Кондрашов, бортнаблюдатели Наталья и Сергей Тимошенко, бортоператор Владимир Логунов, пилот первого класса Виктор Генералов.

...Эффектный взлет против ветра и — разворот. Но что же конкретно сверху видно? Многое. И бесхозность, и рачительность обширного сельхозземля края, и то, какими будут его нынешние и завтрашние урожаи.

Летим строго по линии лесополос. Слева и справа — череда зеленых и черных прямоугольников. Супруги Тимошенко у иллюминаторов только успевают расставлять оценки пронумерованным в бортжурнале полям. Володя Логунов время от времени снимает телекамерой отдельные участки. Потом собранная информация поступит на ЭВМ. Но нашим попутчикам многое понятно уже сейчас. И то, что мне кажется одинаково зеленеющим, цветущим, совершенно иначе представляется им, профессионалам.

Вот участок, словно разлинованный на четкие густо- и бледно-зеленые полосы.

— Это азотные удобрения вносили наземными агрегатами, — поясняет Тимошенко. — Плотность внесения — чуть больше 50 процентов...

В журнале напротив соответствующего прямоугольника появляется оценка — «тройка». А вот однородное, густо-зеленое поле, здесь — «пять». Через несколько участков подряд змеятся полосы. Здесь удобрения распылялись с самолета и, видно, был боковой ветер. Оценка — «два балла».

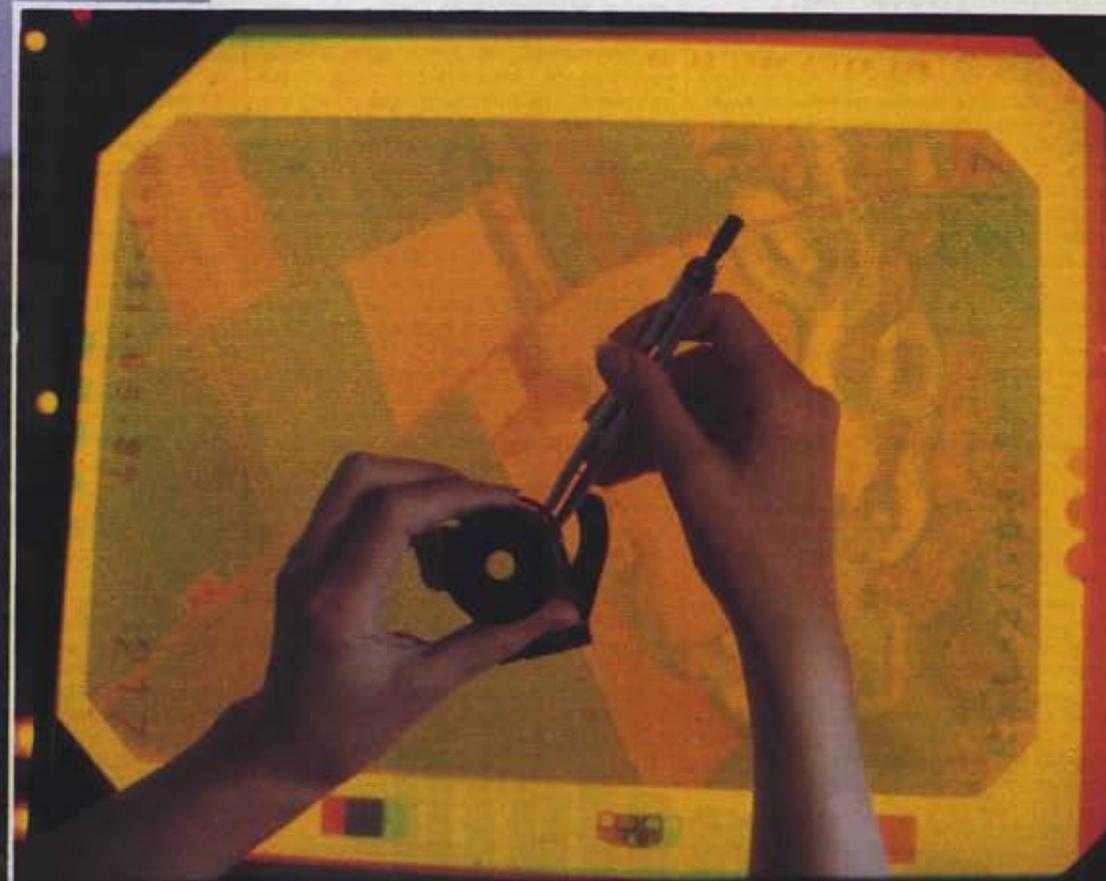
— А это? — интересуюсь, видя пятна едкой зелени, что расходятся лучами с одного угла поля.

— Органика. Вывалили кучу на поле, а бульдозер мало-мало разгреб в стороны. И отрапортовали: вывезли столько-то тонн удобрений.

Действительно, многое сверху видно. И тут уж никак не упрятать, не скрыть наплевательского отношения к делам хозяйства у одних руководителей. И наоборот, сыновьяго, истинно крестьянского подхода к земле, к будущему урожая — у других. И подумалось: ведь по сводкам за несколько лет (они же все хранятся!) можно вполне сделать вывод о «соответствии занимаемой должности». Но это — прерогатива других органов (хоть бы им почаша все-охватно, здраво, а не по бумагам поля эти видеть!), у сотрудников ВНИЦ таких полномочий нет.

Визуальные наблюдения с воздуха — лишь нижняя «полочка» «космической этажерки». Конечная цель научно-исследовательского центра «АИУС Агроресурсы» помочь хлеборобу собрать максимальный урожай. А в перспективе — создать систему агрокультуры, независимую от капризов погоды. Средства для этого используются самые разнообразные. Все уровни «космической этажерки»: многоканальная фотосъемка больших регионов со спутни-

# СВЕРКУ ВИДНО ВСЁ



Картограмма:  
как хозяйствуем?

ков и орбитальных станций, аэросъемка конкретных районов с высоты в несколько километров и, наконец, обзор полей с бортов «малой авиации» — АН-2, МИ-2.

Первое уточняется вторым, второе корректируется третьим... А в итоге руководителям хозяйств выдается полная, исчерпывающая картина по каждому полю: не только виды на урожай, но и прогноз возможных потерь. Имея под рукой такие данные, можно отрабатывать «свой маневр»: скажем, если оперативная сводка показала высокую изреженность всходов, — принять решение о подсеве другой культурой или даже пересеве...

Да, здорово все на бумаге получается! Но... переходит ВНИЦ на хозрасчет. Это значит, он впрямую зависит от количества договоров с хозяйствами. А у тех, в свою очередь, тоже самоокупаемость и самофинансирование...

— Не желают хозяйства платить, — говорит директор Северо-Кавказского филиала ВНИЦ Энвер Махмудович Трахов. — Отказываются от наших услуг, несмотря на очевидную пользу...

Почему так?

Понятно, расплачиваться теперь придется рублем. И немалым. А денег, как известно, лишних не бывает.

— Часть земель, — продолжает Трахов, — хозяйства отдают подрядным звеням, кооперативам. А те, конечно, сами заинтересованы в конечном результате — на пузе все вокруг излазят и без всяких аэрокосмических съемок будут знать любой закуток поля: где там вымочки, вымерзание или пьявица...

Оживление экономики, сельского хо-

зяйства — поиски новых путей и решений. И — проблемы. Хотя бы такая, к примеру: ВНИЦ (со всеми своими самолетами, спутниками, электроникой) оказался в положении, когда спрос на его услуги падает. А у него — план, научные программы, перспективные изыскания...

Болезни роста? Может быть. Но ведь обновление — не просто отказ от старого. Это выход на оптимальные варианты, где общие — всенародные! — усилия сориентированы на конечный, а не на сиюминутный результат.

Не год, не два — десятилетия! — работают в других странах на сельское хозяйство и «космос», и малая авиация. В той же Америке именно съемки из космоса — немаловажное подспорье в определении урожайности не только собственных, но и наших полей — кубанских, например.

А что же мы? Умения не хватает, техники? С техникой действительно не густо. Но есть в «Агроресурсах» модель самолета с кинофотоаппаратурой на борту, управляемая с земли. Эффектно, дешево!

Так опасаются отечественные аграрники новинок. На «пузе», считают, надежнее. Может быть, в какой-то там следующей пятилетке. А пока...

А пока помидоры в Краснодаре так же дороги, как и в Москве. Краснодарского чаю, правда, достал — в кооперативном варианте. А на свой вопрос, возможно ли загодя знать весь объем будущего урожая, получил в местном агропроме обнадеживающий ответ: ничего нет невозможного. Нам, мол, сверху видно все...

## Евгений ДОДОЛЕВ

Уши у нее действительно были надорваны. Зарубцевавшиеся шрамики можно было разглядеть, когда она ломкими жестами уже негибких пальцев поправляла плотные завиточки кудрей. Говорила Фавзия тихо и, как мне казалось, спокойно. Но вдруг, так же тихо, как и говорила, расплакалась и, сдавленно извинившись, ушла на кухню. Вернулась минут через пять, виновато улыбаясь и теребя в руках носовой платок. Попросила непременно изменить фамилию: очень много родичей по всей стране, не только в Ленинграде. И не всем, конечно, ведомо, куда подевались старины татарские украшения, подаренные когда-то Фавзии любезной свекровью.

Фавзия убеждена, что именно эти серьги, кольца и цепочка червонного золота не давали покоя ее «подружке» Гале и подсказали Галиному дружку-милиционеру (который затем погиб в автокатастрофе) «идейку» насчет ОБХСС.

Фавзию Закировну Сигнатулину, работавшую начальником ЖЭУ-17 Петроградского РЖУ города Ленинграда, арестовали в 1982 году.

Приехавшие к ней на работу сотрудники ОБХСС обвинили Фавзию в том, что она получала от своих подчиненных техников какие-то взятки. В тот же день ее отправили в камеру.

# ЗАКОНЧИЛО ДОШЛО?

Зарплата, полученная Фавзией в день задержания, профсоюзные деньги, а также те деньги, которые, по ее словам, — «долг, возвращенный несколькими часами раньше», — были отобраны. Как позднее выяснилось, эти купюры в финчасть милиции на хранение не попали. То есть были похищены. Пропало также большое количество продуктов, закупленных Фавзией «для семейных нужд». Но это мелочи.

— Все золотые украшения в милиции с меня сняли. До сих пор меня бьет нервный озноб при воспоминании о перенесенном при этом, — Фавзия нервно поеживается, рассказывая, как милиционеры выдирали серьги из ее ушей синими рывками.

— Меня стали отпаивать валерьянкой, сдирая при этом с пальцев золотые кольца. После чего я вся была ощущана и обыскана. Никаких протоколов осмотра сорванных с меня украшений не составлялось.

Добавлю, что изделия не фотографировались, а их размеры не фиксировались. никаких копий документов об их изъятии Сигнатулиной не вручалось.

— После обыска следователь заявил мне, что отпустит домой, если я раскошелюсь. Я ответила ему, что ни в чем не виновата, что мне очень хочется домой и поэтому я готова отдать ему часть денег с единственной сберкнижки, которая находится у меня дома. Следователь долго торговался, несколько раз выходил якобы к прокурору. Затем сообщил мне, что двух тысяч мало, и добавил: «Будет подписана санкция на арест!» Как только я оказалась в камере, меня навестила следователь прокуратуры Ковалева. Она интересовалась происхождением содран-

ных с меня украшений. Через некоторое время был проведен обыск у меня дома. Изъяли еще одиннадцать золотых украшений, несмотря на то, что на них имелся нотариально заверенный документ, подтверждающий, что эти украшения — фамильные ценности, что они принадлежали моей сестре, а после ее смерти родители подарили их мне.

Опись изъятых при обыске украшений была составлена, но почему-то на отдельной бумажке. Сберкнижка на 2000 рублей (судьба ее до сих пор неизвестна) также была изъята. Обыск проходил в присутствии единственной соседки. Теперь же в протоколе фигурируют две фамилии.

Сигнатулину бросили, вернее, изъяли языком официальных бумаг, поместили в следственный изолятор.

— За девять месяцев, проведенных там, меня ни разу не допросили. Ни Ковалева, никто другой в СИЗО не появлялся. Кем подписывались санкции на мое пребывание в тюрьме, я не знаю. Когда истекли все допустимые сроки, Ковалева, наконец, прибыла в изолятор: вручила мне какие-то бумаги. Я их подписала, хотя прочитать не могла — была без очков. Потом был суд. никакой вины в моей работе, в моих поступках суд не усмотрел, потому что я не совершила ничего предосу-

дства предложила рассчитаться со мной деньгами, пригрозив, что в противном случае сгноит меня в тюрьме. Я вспомнила поговорку, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. Согласилась. Вместе с Ковалевой поехала в ювелирный магазин. Там оценили изделия заочно. При самом минимальном подсчете сумма оказалась внушительной — около 14 тысяч рублей, — припомните Сигнатулину.

Вначале Ковалева привезла Фавзии тысячу. И надолго пропала. Потом, после упорных телефонных атак, привезла еще 2600 рублей и пообещала со временем возместить все остальное.

Ковалева стала упрашивать, чтобы мой муж дал расписку, датированную задним числом о получении им золотых изделий. И я его уговорила. После этого Ковалева скрылась навсегда. Я долго ждала, молчала, очень всего боялась, так как Ковалева прямо сказала мне, что ее супруг крупный прокурорский работник. Мой муж часто повторял: «Скажи спасибо, что жива осталась».

...После того, как в редакцию пришло письмо ветерана Отечественной войны Моделева, я засомневалась, что случай с «помоями» — первый в практике следователя Ковалевой. Но пусть останется историей № 1.

«Я — коммунист с 1931 года, инвалид, имеющий 15 правительственные наград, в знак протеста против цинич-

...Не каждый день в знак протеста возвращаются правительственные награды. Не стану перечислять многочисленные публикации о злоупотреблениях в системе ленинградских прокуратур. Не хочу повторять очевидные тезисы о «романовском наследии». Допускаю, что где-нибудь положение еще плачевнее. И все-таки. Похоже, что в Ленинграде не все ладно. Суммарная корысть стражей порядка недалека от того критического рубежа, что отделяет исключение от правила. После командировки на невские берега меня просто-таки вело к саркастическим интонациям. Во всяком случае, ситуации с экс-следователем Ковалевой — сюжет для фельетона. Что-нибудь этакое...

«Не в поисках лиф-паф романтики, не затем, чтобы посвятить себя любимому делу и послужить торжеству правовой несправедливости, пришла работать в органы прокуратуры Елена Ивановна Ковалева. Ее, знающую и, догадывающуюся, умеющую ценить радость бытия, доступную состоятельным людям, в отношении которых приходилось расследовать уголовные дела, до глубины следовательской души возмущала несправедливость фортуны. Но Елена Ивановна обладала грозным оружием возмездия — прокурорским удостоверением. Поэтому долго быть несправедливо обиженней она не могла. И горячо взялась за исправление ошибок судьбы, решив тихонько экспроприировать ценности своих зажиточных подследственных.

На какую же сумму предпримчивый следователь смогла «восстановить справедливость»? Не знаю. Но вскоре бумеранг вернулся, и зловещие неприятности обрушились на даму-детектива. Спорное поверье, что високосные годы не к добру, для нее обрело реальную формулировку юридического звучания. Нерадостным в «финансовом отношении» выдался для Елены Ивановны 1984 год. Ее хитроумные комбинации по перемещению «экспроприированных» ценностей стали вскрываться одна за другую. Впервые безжалостный високосник напомнил о себе тем, что из-под стражи освободили ее подследственную — техника-смотрителя жилищной конторы. Возник вопрос: где изъятое золото?

Вообще дело-то совсем не того пошиба, которым должна заниматься столь уважаемая инстанция, как прокуратура. Перекупка помоев? Выполнение сакрального плана по заготовке свиных деликатесов влекло за собой получение незначительных премий. Но, несмотря на традиционную загруженность, Елена Ивановна подключилась к этому делу. Результат уже известен.

Дальше — больше. Материальное положение горе-следователя усугубилось после того, как прокуратура города возбудила против нее (!) уголовное дело. Это обстоятельство несколько обеспокоило энергичную женщину. Хотя первопричина выглядела не ахти как страшно, учитывая вскрытый за последние годы общий фон нарушения соцзаконности (вплоть до следовательского садизма): в одном из уголовных дел имелась незначительная сумма денег. Всего лишь 1000 рублей. (Эта сумма фигурировала при попытке дать взятку.) Елена Ивановна должна была немедленно сдать эти деньги в финчасть на хранение да приложить квитанцию к материалам уголовного дела. По этому поводу есть инструкция Генерального прокурора. Но, подозреваю, потому, что инструкция датирована 1943 годом, Елена Ивановна действовала по своему усмотрению. Этую тысячу она якобы запечатала в конверт и отправила вместе с делом в суд. Здесь-то и выяснилось, что денежки тю-тю. Подозревать можно было, наверное, кого угодно, но расплачиваться своими кровными почему-то пришло неудачливой Елене Ивановне.

Она собрала, как уверяет, требуемую сумму и сдала ее государству. Руководство прокуратуры пошло Ковалевой навстречу. Уголовное дело на нее было прекращено. Но с заветным удо-

дительного. Меня отпустили домой. И сразу же возникло новое обвинение. Оказывается, подчиненные мне дворники перекупали друг у друга пищевые отходы (помои) и за это получали незаконные премии.

Спустя примерно полгода Сигнатулина была вызвана в районную прокуратуру. Там она завела разговор и о пропавших ценностях. Следователь перелистал материалы дела и несколько обескуражженно сообщил Фавзии, что документы об изъятии украшений отсутствуют. После этого Сигнатулина решительно заметила, что тонна помоев стоит 15 копеек, а исчезнувшие драгоценности — более 10 тысяч рублей. Следователь тут же запретил ей «поднимать шум на счет пропажи». Твердо сказал, что все утрясет.

Далее события разворачивались так. На следующий день после разговора со следователем к Сигнатулиной приехала Е. И. Ковалева. Простодушно глядя на свою бывшую подопечную, стала уверять, что в прокуратуре-де проводился субботник, и злополучные украшения она, Ковалева, случайно выбросила на помойку. Каково? Я уж не говорю о том, что, по версии следователя, она выбинула спичечный коробок с тяжелыми «безделушками», которые — все! — никак не могли поместиться в одном коробке. Со мной она встречалась категорически отказала, а в ее деле подробностей на этот счет нет.

— Взамен пропавшего золота Кова-

ных грабежей, совершаемых должностными лицами, облаченными в прокурорские мундиры, обладающими бесконтрольно-неограниченной властью, отказываясь от самой дорогой для меня награды — медали «За оборону Ленинграда»! Я один из немногих оставшихся в живых защитников блокадного Ленинграда. И мне нелегко решиться на такой шаг. Но я не вижу другого выхода. Как же иначе привлечь внимание высших партийных и советских органов к состоянию законности в городе Ленина? В течение четырех лет мною послано около 70 жалоб, в которых рассказывается, как работниками прокуратуры Петроградского района была разграблена квартира сына, а сам он был упрятан в тюрьму по сфабрикованному делу. Я обращалась всюду, однако только через пять лет (благодаря тому, что наши жалобы взяты на контроль в Ленинградском обкоме КПСС) прокуратура города 21 апреля 1988 года была вынуждена по фактам хищения (в период следствия) ценностей из квартиры сына возбудить уголовное дело.

По делу должны расследоваться преступления, связанные с должностными злоупотреблениями и отсутствием прокурорского надзора. И — нечистоплотность бывшего прокурора Петроградского района (ныне заместителя прокурора Ленинграда В. А. Кириллова).

Разве вскрывшиеся факты не основание для отмены приговора по делу моего сына? И производства нового расследования? Однако горпрокуратура упорно продолжает не связывать эти обстоятельства. Круговая порука в прокурорской среде?

стоверением — панацеей от всех бед — пришлось расстаться. Високосный год подходил к концу. До встречи Нового года оставалось всего пять дней. И здесь — новое финансовое потрясение поджидало бывшего сверхпредприимчивого следователя. Отменен приговор по делу Моделева.

Речь шла о разграблении квартиры большого человека, чье заболевание (не на это ли делалась ставка?) уменьшало его шансы на выживание. Около двух лет Моделев был полностью парализован. Жил один, являясь обладателем большого наследственного имущества, оставленного тремя заморскими тетками именно ему и именно из-за тяжелого недуга. (Для юриста с явными корыстными намерениями такой человек представляет лакомый кусочек.)

Руки Ковалевой были развязаны тем, что расхищение находившегося в квартире имущества начала не она, а ее ученик — следователь прокуратуры А. В. Жарук, который и должен был за-протоколировать все изъятые ценности. Их он передал Ковалевой (так заявлено в суде).

Впрочем, чувствуя, я уже через час злопотребил приемами фельетонного жанра. Пора вернуться в русло сдержанного рассказа о деталях истории № 2.

...28 июля 1983 года Моделев, в этот день перенесший «тяжелую операцию на голове», находился на строгом постыдном режиме. Температура — около сорока. К нему домой пришли трое работников уголовного розыска Петроградского РУВД. В руках одного из них — чистый лист бумаги. С тяжелым заголовком «Подозревается в убийстве». Сказав лежавшему в постели Моделеву, что они-де ищут «вещдоки» по убийству, двое молодцы начали обшаривать квартиру. Но затем, посовещавшись, заставили оперированного одеться и доставили, что называется, под руки — в Петроградское РУВД. Благо дом почти напротив. Там без объяснений и допросов впихнули в сырую камеру.

Вооружившись ключами от чужой квартиры, сотрудники угрюмые навестили оставленную без присмотра квартиру, где и стали проводить первый — несанкционированный — обыск.

Многократные проникновения в якобы опечатанную квартиру происходили без возбуждения уголовного дела, без санкции, без протокола, без присутствия родных и самого подозреваемого. Понятные отсутствовали.

...Впервые Ковалева появилась в следственном изоляторе через три месяца после ареста Моделева. Его теперь обвиняли в спекуляции вином (затметка в местной газете называлась «Тени на пьяном углу»).

— Ковалева пожаловалась мне, что квартиру мою открывает с большим трудом. «Замучил верхний замок». Я взял у нее ключ и разяснил причину трудностей. После этого Ковалева в каждое посещение приносила что-нибудь из нужных мне вещей — очки, зубные протезы, лекарство. При этом она «под секретом» поведала, что в моей квартире уже кто-то побывал и даже сорваны обои. Затем осторожно так сообщила, что ею возбуждено уголовное дело «по факту кражи японского магнитофона» из моей машины, находившейся на охраняемой автостоянке.

Ковалеву, считает Моделев, интересовала его реакция на такое сообщение, так как ни о какой краже он понятия не имел.

Его, кроме того, насторожило, что Ковалева знала, что магнитофон — японский.

— Я отреагировал на эту инсценировку кражи отправлением жалобы о разграблении имущества. После этого исчезла и сама машина вместе с техпаспортом. Затем из квартиры было похищено все ценное. Хищение сопровождалось грубейшей фабрикацией материала о групповой спекуляции вином с исходными данными для длительного срока осуждения, что и явилось гарантом безнаказанного присвоения похищенного.

Единственного «свидетеля» и единственной бутылки, вроде бы купленной им «...наверное, случайно», хватило для вынесения жесткого приговора — 9,5 лет.

Но! С другой стороны, никакого уголовного дела на Моделева не возбуждалось. И потому никому это дело не поручалось. Потому что постановление о возбуждении уголовного дела и постановление о принятии его к производству в материалах отсутствуют.

Сам Моделев пытается «воевать за правду» с уникальным документом в руках, подтверждающим, что следователями Жаруком, Ковалевой, прокурором района Кирилловым и судьей Яниной совершен целый ряд преступлений против правосудия. Только, сдается, бумага эта не производит должного воздействия на знакомящихся с ней должностных лиц.

Ленгорсуд в своем определении об отмене приговора зафиксировал: незаконное содержание Моделева под стражей, проведение допроса незаконными методами, изъятие из материалов дела документа под заголовком «Явка с повинной» (в томе № 1 отсутствует лист), появление новых 50 листов, с которыми никто из лиц, проходящих по делу, ознакомлен не был, отсутствие очных ставок, ущемление прав обвиняемых на защиту и многое другое.

Здесь же указывалось на то, что нарушены ст. 83 и 84 УПК РСФСР, то есть Ленгорсуд вскрыл, что сохранность ценностей в период следствия не обеспечена. Уверен, что многие пункты из этого документа произведут на юристов впечатление, которое принято обозначать как неизгладимое. Большинство из этих нарушений наказывается лишением свободы! Так, например, проведение каких-либо следственных действий после окончания расследования запрещено, и, по логике вещей, появление новых 50 листов после составления обвинительного заключения должно быть уголовно наказуемо. (Закон за подобные нарушения предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет.)

Откуда же появились эти листы, в то время как прокуратура уже не могла, а суд еще не мог совершать какие-либо процессуальные действия?

Это цветочки, как говорится. Ягодок довелось отведать, когда «подключилась» судья Янина. Она не стала закомить Моделева с протоколом судебного заседания. По этой причине отсутствовала кассационная жалоба, что автоматически являлось согласием с приговором. Материал был отправлен в Ленгорсуд на утверждение. Но там вынуждены были отправить дело обратно в Петроградский суд.

Тогда Янина пустилась на новое ухищрение. Протокол судебного заседания был прислан Моделеву в камеру. Но... это была искаженная копия протокола, напечатанная так, что весь текст уместился на 15 листах, тогда как в оригинале, представленном в кассационную коллегию, листов было в семь раз больше!

Но и это не все. Кассационная жалоба Моделева нежданно-негаданно очутилась в прокуратуре. Заседания судебной коллегии из-за этого переносились 6 раз. В конце концов Ленгорсуд все же вынуждает прокуратуру вернуть похищенную кассационную жалобу.

Приговор, повторю, был немедленно отменен.

И вот здесь Янина переусердствовала, чем здорово подвела Ковалеву. Зная, что, кроме самого Моделева, приговор никто читать не будет, она решила оградить себя и следователя от его жалоб и внесла часть похищенных денег в текст приговора. Эти деньги (1470 рублей) в финчасть не сдавались (закомая ситуация, не правда ли?). В суд они не поступили, но упоминание о похищенных деньгах в приговоре вынудило заняться их розыском. Эти деньги — внимание! — оказались в обращении у тогдашнего прокурора Петроградского района, ныне зам. прокурора г. Ленинграда В. А. Кириллова. Можно лишь развести руками. Деньги не пахнут. Ки-

риллову пришлось — через девятнадцать месяцев! — сдать их в финчасть горпрокуратуры.

Определение горсуда точку в этой истории не поставил. **Новое** следствие (та же райпрокуратура!) возвратило кое-какие вещи и автотранспорт. Были найдены некоторые документы. И только на суде была обнаружена сберкнижка.

Судьба остального похищенного не выясняется, а с целью скрытия грабежа в материалах дела были подменены листы, появились новые протоколы без подписи Моделева. Дело снова поступило в суд, и Моделев получил 8 лет. Освободившись по амнистии, ринулся искать пропавшие ценности. А заодно и «правду искать».

За последние годы так много написано о беззакониях, творимых теми, кто закон олицетворяет, что, думаю, не стоит еще раз переливать из пустого в порожнее. Все эти разговоры, по-моему, останутся никчемными, если всякий раз вести их абстрактно, не адресуя конкретные обвинения вполне определенному лицу.

Вот почему совершенно намеренно я хочу ограничиться рамками тех двух историй, которые, что называется, потрогали руками. И с Сигнатулиной, и с Моделевым я встречалась, документы придирично просматривал. Общее у обоих — помимо вполне объяснимого недоверия к правоохранительной триаде (милиция, прокуратура, суд) — еще и желание добиться таких справедливости. И желание это упирается во вполне благополучную карьеру экс-следователя Ковалевой, работающей ныне юристом консультантом одного из ленинградских предприятий.

Что же получается? Одна, допустим, торговала помоями, другой — опять же, допустим! — продал бутылку вина. Наказаны сурою. Мать двоих детей отсидела девять с половиной месяцев в «Крестах», инвалид, с трудом передвигающий больные ноги, четыре года провел за колючей проволокой. А лукавый юрист, воспользовавшийся служебным положением и обравшим подследственных, ограничился служебным взысканием?

В то, что следователь безмятежно выбрасывала во время праздничной уборки коробки с ювелирными украшениями, я — что хотите со мной делайте! — не верю. Так же, как не верю тем работникам прокуратуры, которые, даже не разбравшись в деле, «авансом» смыкают ряды и хором защищают Ковалеву, словно она всего лишь находившая семиклассница, исправившая отметку в журнале.

Не терпят люди, закон представляющие, уличать своих коллег в противозаконных ошибках. А ведь, на мой взгляд, виновата не только Ковалева.

Поспешное заключение под стражу, заточение в тюрьме без предварительного доказательства вины — одна из самых опасных ошибок, приводящая к дальнейшему краху общественного сознания в сторону карательного аспекта Закона. А как же быть с его гарантийным аспектом, который и без того у нас запущен давно и основательно? Тюрьма без должных оснований — это ли не циничное торжество презумпции виновности? О каком правовом государстве можно тогда вести громкие речи!

К сожалению, бюрократическая, ориентированная не на массовое мнение, как в большинстве европейских стран, а на бумажную отчетность, система «уплата и успешности» работы следственных органов искашает порой следователей, и появляются масштабные «слоньи» из третесортных (в плане социальной опасности) «мух». Спекуляция вином? Лет десять, достаточно? А доказательства — потом. Зато, когда судят генералов, требуются улики 999-й пробы! Там, если что-нибудь не так, концы с концами не сходятся, услужливые подмастерья неправедной Фемиды охотно разводят руками: понимаем, мол, что взяточники и казнокрады, да следствие не дотянуло с доказательствами.

А вовсе не осудить того же Моделева не могли — часть мундира. Как-никак, на момент вынесения приговора он уже давно сидел в тюрьме. Оправдать значило официально признать некую поспешность ареста. А это уже серьезная ошибка следствия.

Приговор по делу Моделева отменен, но зачем состряпали дело заново и опять передали в суд?

Я вовсе не ратую за то, чтобы Ковалеву упрятали за решетку с такой же оперативностью, как некогда ее подопечных. Однако с двумя вышеизложенными историями надо разобраться на официальном уровне. И главным образом потому, что таких случаев достаточно много. Я знаю, что в послужном списке Ковалевой еще один случай с дамой, имевшей неосторожность щеголять в золоте, — начальницей райжилобмана Позиной. Считаю, дело не в размахе, а в самом **подходе** к своей работе.

Теперь о Моделеве. Приговор, конечно же, неправосуден. И мне понятно то усердие, с которым амнистированный добивается восстановления справедливости, так сказать, де-юре. Понятно мне, и почему его в свое время посадили. Если бы после публикации в городской газете «спекулянт» остался бы на свободе, то суд упрекнули бы в ненужной мягкости. Когда слово «расстрел» становится обиходным, условный срок наказания воспринимается обывателями чуть ли не как смешной над правосудием. Или как смешной правосудия. Кому не приходилось слышать, а то и произносить: «Мало дали».

Но любой экстремизм в оценках опасен. Опасен социально, так же, как и люди, готовые преступить закон. Потому что сопровождается скрытой тенденцией к монополизации морали и истины. И еще, как мне кажется, из поля зрения при этом выпадают нравственные уроки скандальных разборок: почти все их участники претерпевают социализацию со знаком «минус».

Процитирую диссертацию, подготовленную во Всесоюзном НИИ проблем укрепления законности и правопорядка: «...Как показывает практика, в настоящее время при одной и той же тяжести содеянного, в сходных качествах личности подсудимого, более строгие меры уголовного наказания чаще избираются в отношении тех, кто вырос в худших социально-бытовых условиях».

Очень, по-моему, симптоматично. Равенства всех и вся перед Законом в нашей юриспруденции пока нет и в помине. Судьи совершенно иной лексикой пользуются, беседуя, скажем, с алкашом, попавшим на скамью подсудимых за кражу куска сыра из универсала, и секретарем обкома, повинного в миллионах хищений. Впрочем, почему статус подсудимого должен их уравнивать, если и в быту ни о каком равноправии нет речи? Вернее, речи-то слышатся, а толку пока маловато.

Дело, разумеется, не только в судьях и судах. На всех этажах правоохранительной системы действуют фильтры с малыми ячейками. Например, почему бывшие работники правоохранительной триады отыскивают наказания совершенные в иных условиях, нежели простые смертные? Для кого-то ущерб ( причиненный, правда, Ему Величеству Государству) в сотню рублей оборачивается нескользкими годами сурового лагерного режима, а для следователей, «расстроивших» подследственных на десятки тысяч (ох, не любим мы зажиточных — все они классовые недруги, так, что ли?), это всего лишь служебная халатность, караемая разве лишь партвыговором или — как в случае с Ковалевой — сменой места работы.

Со многим приходится мириться. Но с одним — не хочется. Не хочется существовать с привычкой к этому. Хочется жить с надеждой, что равноправие из лозунговой категории переходит в действительно-прикладную. Пора, пора прикладывать. Без крови и хруста. Спокойно и с достоинством. Со всеобщим.



# ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ

Давайте так: если сейчас подсчитать кинофильмы — наши, отечественные, в которых плохо, хорошо, никак, пошло введены элементы эротики или секса, мы, наверное, будем долго загибать пальцы, даже

собравшись большой компанией. Говоря образно и не очень серьезно — если нынче в кинофильме нужно за-труднить реку, окруженную суро-вой сибирской природой, то обязательно появляется обнаженная девица с бесконечными ногами и хорошей косметикой на лице. И — прудит. И — запружает. И построить может. И в горящую избу войти... И если надо — то заодно самозабвенно отдастся. Истосковавшись за годы застоя по зрителю-соучастнику, зрителю-единомышленнику.

Но если говорить серьезно, то эротическое кино заставило нынче самые широкие слои населения обсуждать и ломать голову над понятиями «эротический» и «порнографический». В чем же разница, где следует восхищаться, а где стыдливо опускать глаза? А прокуратура при этом вынуждена давать свои определения этим понятиям, занимаясь, в частности, видеопродукцией. А ведь «видеовал» стремительно нарастает, и — мы уверены — будет нарастать еще активнее.

За последнее время число владельцев видеомагнитофонов увеличилось многократно. Появились и огромное количество видеосалонов, видеокфе и прочих заведений, где можно посмотреть тот или иной записанный на кассету отечественный или зарубежный фильм.

Эротическое кино пришло к нам вместе с видеотехникой сначала с Запада. Затем были предприняты «доморощенные» попытки снимать

эротическое кино и на государственных студиях, и в «домашних» условиях. Последними активно занималась прокуратура и по достоинству оценивала «творческие» искания отдельных энтузиастов, ориентируясь в своих оценках в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Однако и к «законным» фильмам, где встречаются элементы эротики, было высказано много претензий. Часто они были справедливыми, но часто шли от непонимания, ханжества или неподготовленности зрителя к восприятию таких сцен. И проблема до сих пор остается открытою.

Когда человек видит эротический фильм, он, как правило, испытывает стрессовую ситуацию, не зная, как к нему относиться.

Потому, наверное, нужна умная, не пошлая, мы бы сказали, «лекционная» кинопропаганда, объясняющая, что такое эротическое кино, чем отличаются пошлые фильмы от кинолент, признанных шедеврами мирового киноискусства, отвечающих всем критериям морали и нравственности.

Недавно на базе научного Совета по проблемам философии, культуры и современным зарубежным идеологическим течениям АН СССР учреждена экспертная комиссия по видео, которая будет проводить экспертизы по искусствоведческим методикам, утвержденным данным Советом совместно с Институтом киноискусства Госкино СССР.

Журнал «Смена» подписал договор

о сотрудничестве с Координационно-методическим центром ЦК ВЛКСМ. Отныне с помощью центра мы будем выпускать видеофильмы, посвященные самым различным проблемам жизни, развивая темы наиболее острых и актуальных журнальных публикаций. Одно дело прочитать, другое — прочитав, увидеть собственными глазами. Эффект воздействия возрастает.

Первый выпуск — трехчасовая программа, посвященная проблемам эротического кино. Первая кассета из запланированного цикла «Эротика и общество» будет посвящена юридическим и эстетическим вопросам эротического кинематографа. Она вводит зрителя в саму проблему, разъясняет устами специалистов отличие эротических фильмов от порнографических подделок. Зрители смогут познакомиться с мнением юристов, искусствоведов, журналистов, психиатра. Эта видеопрограмма завершается показом фрагментов одного из лучших в эстетическом отношении фильмов, «9½ недель».

Цена кассеты — 300 рублей. Те организации, которые приобретут кассету, имеют право на ее коммерческое использование.

Заявку на трехчасовую видеопрограмму «Юридические и эстетические аспекты эротического кино» направляйте по адресу: 101457, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Смена».

# ДАТА СМЕРТИ

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ

Журналисты из «Правды» — «правдисты», как мы их называли, — рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела... Разговор этот произошел в конце декабря или в начале января 1939 года, вскоре после снятия Ежова<sup>2</sup>, и означал: вот что он насторил... Я сообразила это и сделала вывод: значит, О. М. умер...

Прошло еще немного времени, и меня вызвали повесткой в почтовое отделение у Никитских ворот. Там мне вернули посылку. «За смертью адресата», — сообщила почтовая барышня. Восстановить дату возвращения посылки легче легкого — в этот самый день газеты опубликовали первый огромный список писателей, награжденных орденами<sup>3</sup>.

Евгений Яковлевич<sup>4</sup> поехал в этот праздничный день в Лаврушинский переулок, чтобы сообщить Шкловским. Виктора вызвали снизу, из квартиры, кажется, Катаева, где попутчики вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственные милости. Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденоносцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок. Мне только неясно, кто из них, кроме Шкловского, до конца сознавал, что такое уничтожение человека. Ведь большинство из них принадлежало к поколению, пересмотревшему ценности и боровшемуся за «новое». Это они прорвались к сильной личности, диктатору, который, действуя по своему усмотрению, может карать и миловать, ставить цели и выбирать средства для их достижения.

В июне сорокового года брата О. М., Шуру, вызвали в загс Бауманского района и вручили ему для меня свидетельство о смерти О. М. Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца — это и есть смерть... И еще прибавлено: артериосклероз. И я вспомнила, что говорил Клюев о своих ранних сединах<sup>5</sup>.

Выдана свидетельства смерти была не правилом, а исключением. Гражданская смерть, ссылка или, еще точнее, арест, потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение, приравни-

вался, очевидно, к физической смерти и являлся полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство начинались с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить замуж... Никто не беспокоился, как согласовать такое любезное разрешение с официальным приговором, который отнюдь не означал смерти. Как я уже говорила, я не знаю, почему мне оказали такую милость и выдали «свидетельство о смерти». Нет ли в этом какой-то подделки?

В тех условиях смерть была единственным выходом. Когда я узнала о смерти О. М., мне перестали сниться зловещие сны. «Осин Эмильевич хорошо сделал, что умер,— сказал мне впоследствии Казарновский, — иначе он бы поехал на Колыму». Сам Казарновский<sup>6</sup> провел ссылку на Колыму и в 44-м году явился в Ташкент. Он жил без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошеные калошки моей покойной матери. Они пришли ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзло и стучало, как жесть. Недавно я слышала спор: кто выживал в лагерях — работяги или те, кто от работы уклонялся? Работавшие надрывались, а уклонившиеся пропадали из-за недостатка хлеба. Мне, не имевшей ни доводов, ни своих наблюдений и примеров в защиту той или другой теории, было ясно, что вымирали и те, и другие. Немногочисленные люди, которые выживали, составляли исключение. Иначе говоря, спор напоминал сказку о русском богатыре на перепутье трех дорог, из которых каждая грозит гибелью. Основное свойство русской истории, непреходящее, постоянное, — что богатырю и не богатырю всякая дорога грозит гибелью, из которой он может лишь случайно вывернуться. Я удивляюсь не этому, а тому, что кое-кто из слабых людей действительно оказался богатырем и сохранил не только жизнь, но и светлый ум и память. Таких людей я знаю и рада бы перечислить их имена, но еще не стоит, а потому помяну того, кого мы все уже знаем. — Солженицына.

Казарновский сохранил только жизнь и разрозненные воспоминания. В стационарный лагерь он попал зимой и за-

помнил, что это было голое место: осваивались новые площадки для огромного потока каторжан. Там не стояло ни одной постройки, ни одного барака. Осваивали новую землю для новых поселенцев.

Я слышала, что из Владивостока на Колыму отправляли только морем<sup>7</sup>. Бухта замерзает, хотя и довольно поздно. Каким образом попал Казарновский зимой на Колыму? Ведь навигация должна была прекратиться... Или первый его стационарный лагерь находился не на Колыме, и его отправили этапом куда-нибудь неподалеку, чтобы разгрузить пересыльный лагерь, так называемую пересылку, набитую до отказа призывающими на поездках ссылыми... Этого мне выяснить не удалось: в больном мозгу Казарновского все перепуталось. А между тем для датировки смерти О. М. мне следовало бы знать, в какой момент Казарновский покинул «пересылку».

Казарновский был первым более или менее достоверным вестником с того света. Задолго до его появления я уже слышала от вернувшихся, что Казарновский действительно находился в одной партии с О. М. В «пересылке» они жили вместе, и как будто Казарновский чем-то даже помогал О. М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом... Вот почему я в течение трех месяцев прятала Казарновского от милиции и медленно высушивала те сведения, которые он донес до Ташкента. Память его превратилась в огромный прокисший блок, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти не индивидуальная особенность несчастного Казарновского и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутывать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала, — это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на такие вспышки, отпечатавшиеся в памяти в доказательство того, что сохранить жизнь было невозможно, но воля человека к жизни такова, что ее умудрялись сохранять. И в ужасе я говорила себе, что мы войдем в будущее без людей, которые смогут засвидетельствовать, чем было прошлое. И снаружи, и за колю-

<sup>1</sup> Юрий А. Казарновский, автор сборника «Стихи» (М., 1936) и участник сборника «Моря соединим! Стихи и песни на Беломорстрое» (издание культурно-воспитательного отдела Беломорско-Балтийского лагеря ОГПУ. Медвежья гора, 1932). См. о нем письма Д. С. Лихачева («Огонек», 1988, № 9, с. 10) и Н. Богословского («Литературная Россия», 1989, № 9, с. 10).

<sup>2</sup> 7 декабря 1938 г.

<sup>3</sup> См. «Литературная газета», 1939, 1 февраля.

<sup>4</sup> Е. Я. Хазин (1893—1974) — беллетрист, брат Н. Я. Мандельштам.

<sup>5</sup> Ср.: «И за мои нежданные седины отмываю тягой лебединой...» (Н. Клюев. Художник искусств.)

<sup>6</sup> В 1938 году пересыльный порт находился близ Владивостока и назывался Чуркин причал (в 6—7 километрах от пересыльного лагеря 3/10 «Вторая речка»; ныне внутри городской черты Владивостока). Подробнее см. в цикле статей В. Маркова «Транзит» в газете «Красное знамя» (Владивосток, февраль — март 1989 г.).

чей оградой все мы потеряли память. Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто сохранить жизнь, но стать свидетелями. Это беспощадные хранители истины, растворившиеся в массе каторжан, но только до поры до времени. Там, на каторге, их, кажется, сохранилось больше, чем на Большой земле, где слишком многие поддались искушению примириться с жизнью и спокойно дожить свои годы. Разумеется, таких людей с ясной головой не так уж много, но то, что они уцелели, является лучшим доказательством, что последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу.

Казарновский к этим героическим людям не принадлежал, и я выслушала бесконечные его рассказы и, отбрав крупицы истины, узнала чуть-чуть, меньше малого, о лагерной жизни О. М. Состав пересыльных лагерей всегда текучий, но вначале барак, куда они попали, был заселен интеллигентами из Москвы и Ленинграда — пятьдесят восемьской статьей. Это очень облегчало жизнь. Старостами бараков, как и повсюду в те годы, назначали уголовников, но не рядовых воров, а тех, кто и на воле был связан с органами. Этот младший «командный состав» лагерей отличался крайней жестокостью, и «пятьдесят восемь» от них очень страдала, не меньше, чем от настоящего начальства, с которым, впрочем, со-прикасалась реже. О. М. всегда отличался нервной подвижностью, и всякое волнение у него выражалось в беготне из угла в угол. Здесь, в пересыльном лагере, эти метания и эта моторная возбудимость служили поводом для вечных нападок на него со стороны всяческого начальства. А во дворе он часто подбегал к запрещенным зонам — к ограде и охраняемым участкам, — и стража с криками, проклятиями и матом отгоняла его прочь. Рассказ о том, что его избили уголовники, не подтвердился никем из десятка свидетелей. Похоже, что это легенда.

Одежды в пересыльном лагере не выдавали — да и где ее выдают? — и он замерзал в своем кожаном, уже успевшем превратиться в лохмотья пальто, хотя, как говорил Казарновский, самые страшные морозы граничили уже после его смерти. Их он не испытал. И в этом для меня есть элемент датировки.

О. М. почти ничего не ел, боялся еды, как впоследствии Зощенко, терял свой хлебный паек, путал котелки... В пересыльном лагере, по словам Казарновского, был ларек, где продавали табак и, кажется, сахар. Но откуда взять деньги? К тому же страх еды у О. М. распространялся на ларьковые продукты и сахар, и он принимал его только из рук Казарновского... Благословенная грязная лагерная ладонь, на которой лежит кусочек сахара, и О. М. медлит принять этот последний дар... Но правду ли говорил Казарновский? Не выдумал ли он эту деталь?

Кроме страха еды и непрерывного моторного беспокойства, Казарновский отметил бредовую идею О. М., которая

для него характерна и выдумана быть не могла: О. М. тешил себя надеждой, что ему облегчат жизнь, потому что Ромен Роллан напишет о нем Сталину. Крошечная эта черточка доказывает мне, что Казарновский действительно общался с Мандельштамом. Во время воронежской ссылки мы читали в газетах о приезде Ромена Роллана<sup>1</sup> с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным. О. М. знал Майю Кудашеву, и он вздыхал: «Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил...» О. М. никак не мог поверить, что профессиональные гуманисты не интересуются отдельными судьбами, а только человечеством в целом, и надежда в безысходном положении воплотилась у него в имени Ромена Роллана. А для меня это имя послужило доказательством, что Казарновский не вполне утратил память. А про Ромена Роллана прибавлю для справедливости, что, приехав в Москву, он, кажется, исхлопотал облегчение участия «словарникам». Так, во всяком случае, говорили... Но это не меняет моего мнения о «гуманистах» по профессии. Подлинный гуманизм все знает, и ему до всего есть дело: рука дающего пусть не оскудеет...

Иногда в светлые минуты О. М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто из них записывал. Мне пришлось видеть «альбомы» с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды ему рассказали, что в камере смертников в Лефортове — в годы террора там сидели вперемежку — видели нацарапанные на стене строки: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?» Узнав об этом, О. М. развеселился и несколько дней был спокойнее.

На работы — даже внутрилагерные, вроде приборки — его не посыпали. Даже в этой истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсев он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном.

Однажды О. М. услышал, что в пересыльном лагере находится человек по фамилии Хазин, и попросил Казарновского пойти с ним отыскать его, чтобы узнать, не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами. Этот Хазин, прочтя мемуары Эренбурга, написал ему, и мне удалось с ним встретиться. Существование Хазина — еще одно доказательство, что Казарновский действительно был с Мандельштамом. Сам Хазин О. М. видел два раза: когда О. М. пришел к нему с Казарновским, и вторично, когда он свел его к лагернику, который его разыскивал. Хазин говорит, что встреча О. М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт, и что он был латыш, инженер по профессии. Хинта пересыпали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву, на пересмотр. Такие пересмотры обычно кончались в те годы трагически. Кто был Хинт, я не знаю. Хазину показалось, будто он — школьный товарищ О. М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О. М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища.

По сведениям Хазина, Мандельштам умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал, между тем она была, и я о ней слышал.

<sup>1</sup> В конце июня 1935 года Р. Роллан с женой приезжали в СССР и провели здесь около месяца. В апреле 1938 года в письме С. Цвейгу Р. Роллан сообщал, что послал в СССР в общей сложности двадцать писем в защиту «арестованных друзей» — и не получил ни слова в ответ. И сделал вывод: «У меня больше нет возможностей заставить ко мне прислушаться в СССР» («Вопросы литературы», 1986, № 11, с. 73).



ла от ряда лиц. Мне следовало бы принять меры, чтобы разыскать Хинта, но в наших условиях это невозможно: ведь не могу же я дать объявление в газете, что разыскиваю такого-то человека, видевшего в лагере моего мужа... (...)

Возвращаюсь к рассказам Казарновского. Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал — это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О. М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О. М. умер, и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили, разумеется, без гробов, разделыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по несколько человек на одну яму — покойников всегда хватало, и каждому к ноге привязывали бирку с номером<sup>1</sup>.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности. Не сравнишь ведь этого со смертью Нарбута<sup>2</sup>. Про него говорят, что в пересыльном он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки. Такие случаи, кажется, бывали... Павел,

бывший вор-рецидивист, который носил мне воду и дрова в Тарусе, рассказывал однажды по собственной инициативе, что ему пришлось слышать взрыв, донесшийся с моря, и видеть погружающуюся в воду баржу, на которой, по слухам, находилась «пятьдесят восемь», инвалиды из «политических». Люди, которые во что бы то ни стало желают и сейчас для всего искать оправдания, а таких среди бывших зеков много, убеждают меня, что взорвали только одну баржу, а начальника лагеря, который совершил такое беззаконие, потом расстреляли. Это действительно умилительная концовка, но меня она почему-то не умиляет.

Большинство известных мне людей умерло в лагерях почти сразу. Люди гуманитарных профессий едва ли могли там выжить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, если смерть приходит на выручку? Что дали бы несколько добавочных дней Маргулис<sup>1</sup>, которому покровительствовала шапана за то, что он по ночам рассказывал им романы Дюма? Он находился вместе со Святополк-Мирским<sup>2</sup>, который почти сразу дошел до полного истощения и тоже скоро умер. Слава Богу, что люди смертны, но жить и там, за проволокой, стоило, чтобы запомнить и рассказать людям. Может, это остановит их в дни, когда им захочется повторить наши безумства.

<sup>1</sup> Маргулис (правильно — Моргулис) Александр Осипович — переводчик, адресат знаменитых «Маргулет» — шуточных стихотворений О. Э. Мандельштама, неизменно начинавшихся со слов: «старик Маргулис...»

<sup>2</sup> Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890—1939) — критик и литературовед. Незаконно депортирован в 1937 году.

Вторым достоверным свидетелем был биолог М.<sup>1</sup>, которого О. М. просил в случае освобождения зайти к Эренбургу и рассказать о его последних лагерных днях: он понимал, что сам выжить не сможет. Его рассказ я передал со слов Эренбурга, который к моему приезду из Ташкента успел кое-что сказать: в частности, он называл М. агрономом, потому что тот по освобождении, чтобы укрыться подальше, работал агрономом. В основном сведения М. совпадают с рассказами Казарновского. Он считал, что О. М. умер в первый же год, до открытия навигации, то есть до мая или июня 39-го года. М. довольно подробно передал разговор с врачом<sup>2</sup>, на счастье, тоже ссыльным и понасыпышке звавшим Мандельштама. Врач говорил, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения.

<sup>1</sup> Меркулов Василий Лаврентьевич (1908—1980) — физиолог, доктор биологических наук, ученик А. А. Ухтомского. Арестован 3 июня 1937 года.

Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О. М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О. М. пролежал всего несколько дней, а М. встретил врача сразу после смерти О. М.

О. М. правильно указал биологу М. на Эренбурга, прося его сообщить Илье Григорьевичу о своих последних днях, потому что никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет.

Люди, отбыв свои пятилетние и десятилетние сроки, то есть отдалавшись по нашим понятиям минимумом, оставались обычно на месте, добровольно или поневоле, и сидели, притаившиеся, в своих медвежьих углах. После войны многие вторично попали в лагеря, а наш словарь и наши правовые понятия обогатились невероятным словом «повторник». Вот почему из лагерного призыва 1936—1938 годов выжили только единицы из молодежи, рано начавшей лагерные скитания, и мне пришлось говорить лишь с немногими, столкнувшимися там с О. М. Но слух о его судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидания и водили к людям, которые слышали — на их языке это звучало: «я наверное знаю» — про. О. М., что он жив или дожил до войны, содержитя в одном из лагерей или вышел на волю. Находились и свидетели смерти, но, встретившись со мной, они обычно смущенно признавались, что знают все со слов других, но, разумеется, совершенно достоверных свидетелей.

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова<sup>3</sup> — это просто мысли о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать. Это дань пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и изукрашенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что Мандельштам умер на судне, направлявшемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство Мандельштама уголовниками и чтение у костра Петарки. Вот на последнюю удоочку клонули очень многие, потому что это типовой, так сказать, поэтический стандарт. Есть и рассказы «реалистического» стиля с обязательным участием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., поступали в барак и потребовали «поэта». Р. испугалась ночных гостей: чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О. М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Да, конечно, никаких, но место указано правильно: «Вторая Речка», пересыльный лагерь под Владивостоком. Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил. (...)

До меня часто доходили слухи о лагерных стихах Мандельштама, но всегда это оказывалось вольной или не-

вольной мистификацией. Зато недавно мне показали любопытный список, собранный по лагерным «альбомам». Это достаточно искаженные записи ненапечатанных стихов, где нет ни одного из явных политических звучаний, вроде «Квартиры». Основной источник — это циркулировавшие в тридцатых годах списки, но записывались стихи по памяти, и отсюда множество искажений. Некоторые стихи попали в старых, отвергнутых вариантах, например, «К немецкой речи». А кое-что, несомненно, надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало. Не он ли сам вспомнил свои детские стихи о Распятии? В альбомах попалось и несколько шуточных стихов, которых у меня нет, например, «Извозчик и Данте», но, к сожалению, в диком виде. Его могли завезти в те края только ленинградцы, а их там было более чем достаточно.

Мне показал этот список Д.<sup>1</sup>, автор повести о нашей жизни, которая написана, как говорили в старину, «кровью сердца». В этой повести вскрыта самая сущность нашей злосчастной жизни, хотя в ней говорится о раскопках, змеях, архитектуре и канцелярских барышнях. Человек, читавшийся в эту повесть, не может не понять, почему лагеря не могли не стать основной силой, поддерживающей равновесие в нашей стране.

Д. утверждает, что видел Мандельштама в период «странной войны», то есть через год с лишним после 27 декабря 1938 года, которое я считала датой смерти. Навигация уже открылась, а человек, которого Д. считал за О. М. или который действительно был О. М., находился в партии, направлявшейся на Колыму. Дело происходило все в том же лагере на «Второй Речке». Д., тогда юноша, экспансивный и горячий, услыхал, что в партии находится человек, известный под кличкой Поэт, и пожелал его повидать. Человек этот отозвался, когда Д. окликнул его: «Здравствуйте, Осип Мандельштам». Отчества Д. не знал... «Поэт» производил впечатление душевнобольного, сохранившего все же некоторую ориентацию. Встреча была минутной — поговорили об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тревоги. Затем старики — Позту на вид было лет семьдесят — позвали есть кашу, и он ушел.

Старческий вид лагерника, мнимого или настоящего Мандельштама, не свидетельствует ни о чем: в тех условиях люди старились с невероятной быстрой, а О. М. никогда моложавостью не отличался и выглядел значительно старше своих лет. Но как сопоставить эти сведения с моими данными? Можно предположить, что Мандельштам вышел из больницы, когда все знали его уже рассеялись по лагерям, и прожил тенью еще несколько месяцев или даже лет. Или какой-нибудь старики однодомашинец — а у всех Мандельштамов повторяются одни и те же имена, и они схожи лицом — отклинулся на прозвище «Поэт» и жил в лагере, где его принимали за О. М. Есть ли основания считать человека, встреченного Д. О. Мандельштамом?

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д., а его рассказ смущил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни? И я взвесила все про и контра...

Д. с Мандельштамом знаком не был, но в Москве ему случалось видеть его, но всегда в периоды, когда О. М. запускал бороду, а лагерный «поэт» был гладко выбрит. Все же какие-то черты напомнили Д. облик Мандельштама. Для полной уверенности этого, конечно, мало — обознаться легче легкого. Д. узнал одну деталь, но не со слов «поэта», а через третьи руки: судьбу О. М. решил какое-то письмо Бухарина. Очевидно, в 38-м году всплыло приложение к первому делу письмо Бухарина к Сталину и многочисленные записи

Бухарина, отобранные при первом обыске<sup>2</sup>. Случай этот более чем вероятный. И о нем мог знать только настоящий Мандельштам. Однако остается открытый вопрос, говорил ли об этом письме таинственный старики по кличке «поэт», или ему только приписывали бытавший в лагере рассказ уже умершего человека, за которого его принимали. Иначе говоря, лагерники знали, что в деле Мандельштама фигурировало письмо Бухарина. Какого-то старики, быть может, однофамильца, принимали за О. М. и, вспомнив историю с бухаринским письмом, приписали ее старики. Проверить, что было на самом деле, невозможно. Но один факт здесь меня интересует: слух о письме. Это первый и единственный слух, дошедшний до меня о тюремном периоде в период второго, повторного дела. О. М. недаром сказал в «Четвертой Прозе»: «Мое дело не кончилось и никогда не кончится...»<sup>3</sup> На основании письма Бухарина дело 34-го года пересматривалось в 34-м же году, и на основании того же письма оно пересматривалось и в 38-м... Далее оно пересматривалось в 55-м году, но осталось совершенно темным, и я надеюсь, что оно будет пересматриваться еще не раз.

Но что же, собственно, подтверждает мою версию о смерти в декабре 38-го года? Для меня первой вестью о смерти была возвращенная «за смертью адресата» посылка. Но этого еще недостаточно: мы знаем тысячи случаев, когда посылки возвращались с такой мотивированной, а потом оказывалось, что адресат просто переведен в другое место и потому не получил своего ящика. Вернувшаяся посылка прочно ассоциировалась со смертью, и для большинства это был единственный способ узнать о смерти близкого; между тем в сумбуре перегруженных лагерей перегруженные чиновники в военных формах писали что попало — смерть так смерть — не все ли равно? Попавшие за колючую проволоку тем самым исключались из жизни, и с ними не церемонились. И с военных фронтов приходили повестки о смерти солдат и офицеров, которые на самом деле были ранены или попали в плен. А ведь на фронте это делалось по ошибке, и люди, окруженные равными себе, пользовались вниманием и сочувствием всех. С лагерниками же обращались хуже, чем со скотами, и скоты, которые распоряжались их жизнью, специально обучались попирать все их человеческие права. Возвращение посылки не может служить доказательством смерти.

Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например, к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитаций почти механически выставлялись как даты смерти сорок второй и сорок третий годы. Кто же может поверить дате на свидетельстве о смерти? А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припрятый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто...

В свидетельстве о смерти написано, что в книге записей смерть О. М. зарегистрирована в мае сорокового года. Это, пожалуй, единственная реальность. Как будто можно надеяться, что

живого не записали в книгу мертвых, хотя абсолютной уверенности в этом нет. Предположим, что к Сталину обратился какой-нибудь Ромен Роллан, с которым Сталин считался, и попросил об освобождении Мандельштама. У нас случалось, что по просьбе из-за границы, обращенной к хозяину, выпускали людей на волю. Сталин мог не захотеть отпустить Мандельштама, или его нельзя было выпустить, потому что в тюрьме его забили... В таком случае ничего бы не стоило объявить его мертвым и, выдав мне свидетельство о смерти, сделать меня рупором этой правительственной лжи. Почему мне выдали это свидетельство, хотя другим не выдали? С какой целью?

А если Мандельштам действительно умер где-то в мае сорокового года — скажем, в апреле, — Д. мог его видеть, и старики «поэт» был О. М.

Можно ли положиться на свидения Казарновского и Хазина? Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стирались. Казарновский мог уехать — когда и как его отправили, так и осталось неизвестным — до того времени, как О. М. выпустили из больницы. Слухи о смерти М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М. с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два... Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. И в страшном месиве и крошеве — в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми — никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями — Д. — один из них, — не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные «за» и «против».

Я знаю одно: человек, страдающий и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах, и вокруг него кололись другие смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили, или она не успела дойти... Постыдился отправил обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О. М. погиб. Для него, ожидавшего посыпку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откомленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рваться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то непроизносимую фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову — «за смертью адресата», — и отправил ящик обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.

А после его смерти — или до нее? — он жил в лагерных легендах, как семидесятилетний безумный старики с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «поэтом». И какой-то другой старики — или это был О. М.? — жил в лагере на «Второй Речке» и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он.

Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше.

### ЕЩЕ ОДИН РАССКАЗ

Еще немного я все же знаю. Транспорт вышел седьмого сентября<sup>1</sup> 38-го

<sup>1</sup> Об обыске и первом аресте см.: Н. Мандельштам. Воспоминания. «Юность», 1988, № 8, с. 36—39.

<sup>2</sup> См. «Родник», Рига, 1988, № 6, с. 24.

<sup>3</sup> Реабилитация О. Э. Мандельштама по «делу» 1934 г. состоялась лишь 28 октября 1987 г.

<sup>2</sup> Фамилия врача, удостоверившего смерть Мандельштама, — Кресаново (см. «Постскриптум»). И. С. Поступальский называет другие фамилии: Дмитрий Федорович Орешин, Иван Васильевич Чистяков, Валентин Афанасьев — врачи, а также Евгений Иннокентьевич Цебриянов — инженер, староста палаты. В. А. Баталин называл фамилию врача Миллера, немца из Ленинграда, причем о Мандельштаме Миллер сказал, что он былpellagrozник, крайне истощенный, с нарушенной психикой.

<sup>3</sup> «Шерри-брэнди» (опубликован в журнале «Москва», 1988, № 9).

года. Л., физик по профессии, работавший в одном из подвернувшихся полному разгрому вузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину, неожиданно, чтобы я назвала его имя: «Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать...» Он попал в этот транспорт из Таганки. Другие были из внутренней тюрьмы, и только перед самой отправкой их переводили в Бутырку. Еще в дороге Л. узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Л. заболел и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, О. М. все время лежит, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупают ему иногда на станциях булку. О. М. разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в щелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы — в этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды.

Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на «Второй Речке» оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девять было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя рядами бараков. Стояла сухая погода, и Л. под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг уборные: а что такое лагерные уборные, можно себе представить — всегда сидят на корточках полуоголые люди и бьют вшей на своей уже превратившейся в лохмотья одежду. Но сыпняк еще не начался. (...)

Однажды Архангельский (из уголовников — П. Н.) пригласил Л. зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. (...) Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел. (...)

Среди шланы находился человек, по-росийски седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи — то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.

После этого вечера Л., встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Л. заметил, что О. М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, из-за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок... Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутрь», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания... Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходе было страшное слово «социально опасный» — и вот в больном мозгу это все смешалось, — и О. М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок»...

В психиатрии, Л. не понимал, но ему очень хотелось помочь О. М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О. М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть, для того, чтобы его сторонились... «Но меня вы же не хотите отпугивать! — сказал Л. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников, по правилам, пятьдесят восьмую статью как особо

вредную должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось — шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятаке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И, наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка».

Среди добровольцев оказался и Л. (...) На работу Л. взял с собой напарника О. М. Это было возможно, потому что на «пересылке» никаких норм выработки не существовало, да и сам Л. надрываться на работе не собирался. Они грузили на носилки один-два камня, таскали их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Л. Однажды, отдавая на куче камней, О. М. сказал: «Первая моя книга называлась «Камень», а последняя тоже будет камнем...» Л. запомнил эту фразу, хотя не знал названия книги О. М., и прервал свой рассказ, спросив у меня: «А его книга действительно называлась «Камнем»? Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проворил свою память...

Вырвавшись из толпы, в сравнительном безлюдье и спокойствии территории уголовников, оба они воспрянули духом. Рассказ Л. объясняет фразу из последнего письма О. М.: он пишет, что выходит на работу, и это подняло настроение. Все утверждали, что в «пересылке» на работу не посыпают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Л.

В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Л. потерял О. М. из виду. (...) В изоляторе ему (физику Л.—П. Н.) рассказали, что недолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовалась излишек одежды — наследство умерших, а умирали там люди как муки. К этому времени О. М. очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него полтора кило, которые тут же украли. Л. спрашивал, куда же девалася О. М., но никто этого не знал. (...)

Выйдя из больницы, Л. узнал, что О. М. умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939-го, потому что в апреле Л. уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелем смерти Л. не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Л. как будто подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти О. М. А я делаю из него еще один вывод: так как больница была отдана под сырной тиф, то умереть О. М. мог только в изоляторе, и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней.

Мне негде навести справки, и никто не станет со мной об этом говорить. Кто станет рваться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти?.. Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали или по крайней мере прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочки у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму... Поэтому я могу собрать только все свои скучные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе: чем скорее наступает смерть, тем

лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что, когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти О. М., он, может, еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что-либо, чтобы установить ее.

## ПОСТСКРИПТУМ

Комиссия по литературному наследию О. Э. Мандельштама обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой о розыске документов, имеющих касательство к обстоятельствам ареста, заключения и смерти О. Э. Мандельштама. В конце января нам сообщили: найдено личное дело заключенного О. Э. Мандельштама. Можно звать и ознакомиться!

...И вот на стол легла ничем не примечательная папка светло-коричневого цвета. «Личное дело на арестованного Бутырской тюрьмы Мандельштама Осипа Эмильевича». Прибыл (очевидно, в Бутырскую тюрьму, бывшую тогда всесоюзной пересылкой) — здесь формировалось большинство этапов — 4 августа 1938 г. Арестован — 3 мая 1938 г. Срок хранения — постоянно<sup>1</sup>.

Последняя — тюремная — фотография: профиль и анфас. Мандельштам — в кожаном, не по размеру большом пальто (подарок Эренбурга — это пальто упомянут потом почти все, видевшие его в лагере), в пиджаке, свитере и летней белой рубашке. Небритое, одутловатое, отечное лицо сердечника, всклокоченные седины. Как выдержать этот обреченно-спокойный, и вместе с тем гордый взгляд усталого, испуганного человека, у которого отобрали все — книги, стихи, жену, весну, свободу, у которого скоро отнимут и последнее — жизнь! В этом взгляде, в этих глазах — весь его мир и дар, без которых сегодня нам самим, кажется, уже невозможно жить.

Первой в деле идет анкета (заполнялась дважды). Есть в ней графы, рассчитанные, видимо, на уголовников: «фамилия и кличка». В лагере, рассказывают, Мандельштам получил кличку «Поэт». Здесь же «Поэт» простоял как его узкая специальность (широкая — писатель, стаж — 29 лет). В качестве последнего учреждения или предприятия, где он работал до заключения, Мандельштам указал Драмтеатр г. Воронежа. Предусмотрительная анкета (точнее, учетно-статистическая карточка) различает постоянное последнее место жительства: из нее мы впервые узнаем его калининский адрес и фамилию хозяев (очевидно, это 3-я Никитинская, дом Травниковых). Мандельштам указал, что знает пять языков: русский, французский, немецкий, итальянский, испанский. Тут же оттиск большого пальца правой руки. Все записи сделаны следователем, только внизу — собственноручная подпись Мандельштама. 14 мая дактилоскопист внутренней тюрьмы (Лубянки) снял дактилограмму: все, как положено, — отпечатки пальцев правой руки, левой, контрольный оттиск. Есть в деле и выписка из протокола Особого совещания при НКВД СССР на типографском бланке. Круглая печать и штампованные подписи ответственного секретаря Особого совещания тов. И. Шапиро удостоверяют, что 2 августа 1938-го слушали дело о Мандельштаме Осипе Эмильевиче, 1891 года рождения, сыне купца, засе (I). Постановили: «Мандельштама Осипа Эмильевича за к.-р. контреволюционную... — П. Н.) деятельность заключить в исправрудлагерь сроком на пять лет, считая срок с 30 апреля 1938 г. (очевидно, этим опережающим событием числом был помечен ордер на арест Мандельштама в Саматихе и соответственно «датирована» фотография Мандельштама — П. Н.). Дело сдать в архив». На обороте пометка: «Объявлено 8/8—38 г.». И далее, рукой поэта: «Постановление ОСО читал О. Э. Мандельштам».

После этого Мандельштам был переведен в Бутырскую тюрьму и помещен в общую камеру. В лагерь, согласно анкете, он прибыл 12 октября 1938 г.

В деле несколько документов, касающихся смерти Мандельштама. Если раньше были причины и поводы сомневаться в официальной дате, то сейчас сомнения отпадают: 27 декабря 1938 г. — не предположительная, а точная дата его смерти. Смерть з/к Осипа Эмильевича Мандельштама (так в документе). — П. Н.) удостоверяется

рена актом, составленным врачом Кресновым и дежурным медфельдшером (фамилия неразборчива). Мандельштам был положен в стационар (больницу) отделенного лагпункта СВИЛ НКВД 26 декабря 1938 г. и уже 27 декабря умер. Причина смерти — паралич сердца и артериосклероз. В тот же день труп был дактилоскопирован. Ввиду ясности смерти, как написано в этом акте, труп вскрытию не подвергался<sup>2</sup>.

Имеющаяся в деле дополнительная справка уточняет время наступления смерти: 12 часов 30 минут. Составлявший ее считал нужным отметить, что «при осмотре трупа на левой руке в нижней трети плача имеется родинка».

31 декабря старший дактилоскопист районного отделения УГБ НКВД по «Дальнюю» тов. Повереннов произвел «сличение и отождествление пальце-отпечатков, снятых на дактилограмме з/к, умершего 27 декабря 1938 г. и числящегося в санчасти Отделенного лагпункта согласно ротной карточки, под фамилией Мандельштам, с пальце-отпечатками на дактилограмме, зарегистрированными на его имя в личном деле». Оказалось, что строение пальчиковых линий (характерных рельефных линий на ладонях и подошвенных поверхностях... — П. Н.), узоров и характерных особенностей пальце-отпечатков по обоим сличаемым дактилограммам между собой обозначаются как совершенно тождественные и принадлежат одному и тому же лицу (и первая, и вторая дактилограммы имеются в деле).

В дело подшила также переписка Н. Я. Мандельштам с ГУЛАГом:

7/II—39.

В главное управление лагерей.

Мне известно, что мой муж, заключенный Мандельштам Осип Эмильевич, умер во Владивостоке (С.В.И.Л. № 11 барах, 5 лет КРД), т. к. мне был возвращен денежный перевод «за смертью адресата». Дата смерти определяется между 15/XII—38 г. и 10/I 1939 г.

Прошу управление лагерей проверить мои сведения и выдать мне официальную справку о смерти О. Э. Мандельштама.

Надежда Мандельштам.

Ответ прошу сообщить по адресу:  
Москва, Старосадский № 10, кв. 3  
Александру Эмильевичу Мандельштаму.  
У меня в данное время адреса нет, т. к. временная моя прописка в Москве кончилась, и я ищу помещение под Москвой.

По-видимому, из Москвы был сделан соответствующий запрос, ответом на который явилось следующее письмо от 10 июля 1939 г. на бланке Севвостлага НКВД, бухта Нагаево:  
«Начальнику Отдела актов гражданского состояния УНКВД по Дальнюю г. Магадана.  
При этом направляется переписка родных с извещением о смерти з/к Мандельштама О. Э. л/д № В-3/2844 для непосредственного ответа заявителю. Начальник Уголовного розыска СВИЛ НКВД Лейтенант Бондаренко. Начальник Учетно-регистрационного отдела Барабатин.

Основанием для этого письма, по-видимому, послужила справка о смерти О. Э. Мандельштама, подписанная 25 июня 1939 г. руководителем группы (по-видимому, розыска документов) тов. Жильчаковой.

Вот, собственно, и все. Публикуемые документы многое уточняют в обстоятельствах последних месяцев жизни Мандельштама.

Выражая искреннюю признательность сотрудникам архива МВД, без помощи и участия которых эта публикация была невозможна.

Павел НЕРЛЕР,  
секретарь Комиссии по литературному наследию  
О. Э. Мандельштама

<sup>1</sup> Эта запись несколько настороживает. Является ли такая практика обычным или исключительным явлением? Возможно ли установить причину смерти без патологоанатомического вскрытия? Если да, то входят ли в число таких безусловных причин паралич сердца и артериосклероз? Если нет, то не является ли эта запись косвенным указанием на насилиственный характер смерти? Или все-таки свидетельством формальности отношения перегруженных работой (не забудем и об эпидемии сыпняка!) лагерных врачей к своему последнему долгту? На все эти вопросы у меня нет ответа.

<sup>2</sup> Северо-Восточные исправительно-трудовые лагеря.

# СИВИЧ МОИ ДРУЗЬ

Николай ОГАНЕСОВ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В ПУТИ

### Двадцать три часа двадцать минут

Мы идем по пустынному перрону навстречу движущимся вагонам скорого пассажирского поезда. Мокрый, с матовыми от тумана окнами, он блестит рифлеными боками в мертвенно-белом свете фонарей.

Мимо проплывает нужный нам пятый вагон. На ступеньке у входа стоит высокий грузный мужчина — судя по форменной фуражке, проводник. Он замечает нашу группу, ждет, когда состав окончательно остановится, потом неуклюже соскальзывает на платформу и, зажав под мышкой сигнальные флаги, пропускает меня и моих спутников в вагон.

В коридоре нас встречают несколько пассажиров. Они стоят в проходе, настороженно смотрят на идущего первым сержанта. Тот останавливается, вежливо просит их разойтись по своим местам. Узкий коридор пустеет, становится видна ковровая дорожка, местами выпотапенная до серой волокнистой основы.

— Где? — спрашиваю у проводника.

— В восьмом, — понимает он с полуслова. — Я запер. Ключ у меня.

Отмечая про себя, что голос его совершенно спокоен, даже равнодушен, будто нет ничего будничней, чем везти в закрытом купе труп человека.

Волобуев, следователь прокуратуры, просит отпереть дверь. Проводник возится с замком, потом отступает в сторону и замирает.

На тесном прямоугольнике пола лежит человек. Его лицо уткнулось в лужу крови. Она кажется почти черной и похожа скорее на пролитый мазут.

Мы с Волобуевым переглядываемся. Он вместе с экспертом склоняется над трупом, а я отзываю проводника к окну.

— Кто его обнаружил?

— Пассажир из седьмого купе.

— Когда?

— С полчаса назад.

— Он здесь?

Проводник кивает на соседнее купе. В эмалированный ромбик на двери вписана семерка.

— Сколько пассажиров в вагоне?

Он беззвучно шевелит губами — пересчитывает.

— Семеро. — И, угадывая мой следующий вопрос, поясняет: — Все как сели, так и едут. Никто не сходит.

На всякий случай беру эти сведения на заметку. Кажется, все. Пока все. Жестом отпускаю проводника и заглядываю в восьмое купе.

Туда не войти. Осмотр в разгаре.

Чтобы не терять времени, стучу в седьмое купе. Дверь мгновенно открывается: похоже, меня ждали.

На пороге — мужчина лет пятидесяти пяти, с ярко-розовой, вправе рыжеватых волос, лысиной и таким же ярким румянцем на одутловатых щеках. По беспокойному, бегающему взгляду не поймешь — пьян он или взволнован, а может, и то, и другое вместе.

Я здоровалась, представляясь, задав вопрос:

— Это вы обнаружили труп?

— Да... То есть нет, — отвечает владелец розовой лысины, и запах спиртного снимает сомнения — выпил, причем недавно.

На нижней полке, в углу, сидит женщина. Лица ее не видно — она демонстративно отвернулась к окну.

— Пройдемте со мной, — приглашаю я мужчину.

Мы выходим и направляемся к открытой двери двухместного служебного купе.

— Ваше имя, фамилия?

— Жохов Станислав Иванович.



Он не настолько пьян, как мне показалось сначала.

— Степан Гаврилович васdezинформировал: труп обнаружил не я, а Эрих, — продолжает Станислав Иванович, и у меня возникает ощущение, что он присутствовал при нашем разговоре с проводником.

— Кто это — Эрих?

— Эрих — Жохов делает неопределенный жест рукой. — Он тоже из восьмого купе, вместе с Рубином ехали.

— А кто такой Рубин? — спрашиваю я, потому что каждая история должна иметь начало.

— Рубин? — Интонация и жесты повторяются. — Рубин — это тот... — Он морщится, затрудняясь объяснять. — Ну, тот, что лежит там...

— Тот, что лежит там... Понятно.

— Расскажите, как все произошло, — прошу я.

— Я же говорю, что там уже был Эрих. При чем здесь я? Ему лучше знать, что и как у них произошло.

— А как вы сами оказались в восьмом купе?

— Как оказался? — выгадывая время, переспрашивает Жохов. — Да очень просто... Просто оказался. Пошел в туалет, вдруг слышу какой-то шум. Мне показалось, что там что-то неладно. Ну, я и заглянул...

— Что это было за шум?

— Да как вам сказать... Шум как шум, — так и не подобрав нужных слов, продолжает он. — А может, мне показалось, кто его знает. Я, понимаете, не прислушивался, так что вполне мог ошибиться.

Собственная непоследовательность нисколько не смущает Жохова. Покопавшись в кармане, он вытаскивает пачку сигарет, просит разрешения закурить.

— Значит, так... Когда я вошел, Рубин уже лежал на полу. Без движения. Под головой лужа крови. А рядом с ним на корточках сидел Эрих. Я в общем-то не из трусливых, но в тот момент, признаться, растерялся.

Что делать? Решил звать на помощь. Крикнул что-то, уже не помню, что именно. Сразу сбежались люди, ну и пошло-покатилось. Вот и все. Кажется, ничего не пропустил.

— Вы не заметили, что делал Эрих над трупом?

— Как, что делал? Просто сидел на корточках.

— Он успел вам что-нибудь сказать, прежде чем вы начали звать на помощь?

— Ничего. Это точно. — Станислав Иванович провел ладонью, приглаживая несуществующую шевелюру. — Когда собрались пассажиры, Эрих стал объяснять, что он спал, и его разбудил какой-то шум, это Рубин упал с верхней полки, разбрзлся. Так он говорил. Все, кто там находился, могут подтвердить.

— Вы не заметили, который был час?

— Точно не скажу, но все произошло с полчаса назад, не больше. Значит... — он глянул на часы, — значит, приблизительно в одиннадцать.

— Вы заходили в восьмое купе или все время продолжали стоять на пороге?

— Конечно, заходил. И я, и все остальные. Вы что, не поняли? Мы же не были уверены, что Рубин мертв. Проверяли пульс, слушали дыхание.

— Сдвигали труп с места?

Жохов неопределенно жмет плечами.

— Да нет вроде. Проводник предупреждал, чтоб ничего не трогали до прибытия на станцию.

— Что вы можете сказать об Эрихе?

— Что сказать? Ну, познакомились в поезде. Вроде вежливый молодой человек. Интеллигентный...

— Не знаете, где он сейчас?

— Кажется, у Тенгиза.

— Ясно, — говорю я, но ясности-то как раз и нет. Я поднимаюсь. Следом за мной поднимается Жохов.

— Станислав Иванович, вы еще можете нам пона-

добиться для уточнения кое-каких деталей. Не возражаете?

— Конечно, конечно,— соглашается он.— Мы с женой едем до конечной остановки. Если что — добро пожаловать.

Мы вместе возвращаемся к седьмому купе. Когда дверь отодвигается, я вновь вижу сидящую у окна женщину — очевидно, жену Станислава Ивановича. Она нервно вскакивает с места, и, за секунду до того, как дверь отрезает меня от супружеской пары, я успеваю заметить ее искаженное гневом лицо.

Коридор по-прежнему пуст. Где мне искать этого самого Эриха?

Я снова стучу в дверь седьмого купе, отодвигаю ее и слышу обрывок фразы:

— ...Ты хуже убийцы!..

Они растерянно смотрят на меня. Жохов поднимается с полки, голос его срывается на диктант, а руки непроизвольно взмывают вверх:

— По какому праву вы врываетесь?! Кто вам позволил? Стучать надо...

— Простите, я стучал. Станислав Иванович, вы сказали, что Эрих у Тенгиза. Я забыл уточнить, в каком купе?

— В четвертом.— Он в упор смотрит на меня, и, отвернувшись, я чувствую его неприязненный взгляд, направленный мне в затылок.

Поезд стоит на станции уже лишних полторы минуты. Диспетчер обещал десять, максимум пятнадцать и ни секунды больше. Его можно понять — у нас разные ведомства...

### Двадцать три часа тридцать две минуты

В четвертом купе навстречу мне поднимается рослый молодой человек. Отгороженный его широкими плечами, я не сразу различаю лежащего на полке второго пассажира, который дает знать о своем присутствии с характерным южным акцентом:

— Заходи, дорогой. Заходи, пожалуйста.

— Спасибо.— Я обращаюсь к молодому человеку.— Вы — Эрих?

— Да, Эрих Янкунс,— отвечает он, возвращаясь на свое место.

Я подворачиваю край матраца и присаживаюсь.

— В вашем вагоне умер человек. Что вы можете сказать о случившемся?

— Нехорошо получилось,— вступает в разговор второй пассажир. Это, как я понимаю, и есть Тенгиз.— Человека дома ждут, встречать будут, а он... Нехорошо!

Справедливое замечание, но времени на эмоции у меня не осталось, и я снова обращаюсь к Янкунсу:

— Есть сведения, что первым труп обнаружили вы. Так ли это?

— Наверно, так.

— Наверно? Расскажите, как это произошло.

— Я спал. Около одиннадцати часов проснулся от шума. На полу увидел Виталия Рубина, соседа по купе. Встал посмотреть, что с ним. В это время вошел пассажир из седьмого купе.

— Жохов?

— Да. Так, кажется, его фамилия.

— Что за шум вы слышали?

— Как это? — удивляется Янкунс.— Виталий упал с верхней полки. От этого я и проснулся.

— В купе, кроме вас, никого не было?

— Никого, мы вдвоем занимали восьмое купе.

— Вы знали своего соседа раньше?

— Нет. Познакомились в поезде.

— Когда обнаружили его лежащим на полу, он был еще жив?

— Когда я проснулся, в купе было темно. На полу кто-то лежал. Я нагнулся, но ничего не успел рассмотреть. Открылась дверь, вошел Жохов, стал кричать. Собрались пассажиры. Только тогда мы увидели, что этот человек мертв.

— После случившегося вы перенесли свои вещи сюда?

— Да, я перешел на свободное место.

— До какой станции едете?

— Мне выходить на конечной.

— Хорошо. Оставайтесь здесь...

В коридоре меня встречает Волобуев.

— Ну, как у тебя розыск? С уловом?

— Пока ничего определенного,— уклончиво отвечаю я.

— Но вот, почитай,— он протягивает мне протокол осмотра.— Эксперт еще там, не закончил, просит подождать. Внутри духотища — не продохнуть.

Мы пропускаем мимо себя понятых, фотографа, криминалиста и возвращаемся к восьмому купе. Стоя у двери, я осматриваю то, что теперь официально называется местом происшествия, читаю протокол. Он составлен подробно и тщательно, как всегда, когда дело ведет Юрий Сергеевич.

Слева на полке, застеленной для сна, я вижу ченоан с откинутой крышкой. В нем беспорядочной кучей свалена одежда со свежими бурыми пятнами. Такие же, еще не успевшие высокнуть пятна на наволочке и простыне. Рядом с ченоаном — небрежно брошенный пиджак, из которого в ходе осмотра извлечены документы, принадлежавшие умершему. Из них следует, что фамилия его — Рубин, звали Виталий Федоро-

вич. Родился 10 сентября 1939 года, уроженец города Свердловска, русский, не женат, судим в 1965 году за хищение государственного имущества, наказание отбыто, с последнего места жительства выписан три месяца назад.

Этим информацией о покойном исчерпывается.

Еще раз перечитываю протокол осмотра.

На вещах Рубина, на двери, столике и полках следов, пригодных к обработке и идентификации, не обнаружено. Дверные ручки полны смазанных отпечатков пальцев, поверхность пола затоптана десятками пар ног.

Я возвращаю протокол Волобуеву и прошу:

— Юрий Сергеевич, позвони жене, прямо из отеля.

— Конечно. Езжай спокойно, я ей все объясню,— обещает он.

В коридор, надевая на ходу плащ, выходит эксперт.

— Пошли, пошли, товарищи,— торопит Волобуев.— До отправления четыре минуты.

Мы покидаем вагон и вместе с экспертом идем вдоль состава.

— Что скажете, Геннадий Борисович? — спрашивает Волобуев. Зная щепетильность эксперта, он задает вопрос мягко, без присущей ему напористости.

— Итоги подводить рано. Кое-что можно сказать уже сейчас, но при условии, что мое мнение будет использовано только в оперативных целях...

Наше молчание принимается за полное согласие.

— Смерть наступила больше часа назад, а точнее — около двадцати двух часов. Не позже. Возможно, даже чуть раньше, в пределах, скажем, пяти — десяти минут. Причина — непроникающее ранение в височной области. Нанесено тупым предметом. Расечен кожный покров на затылке, кровь оттуда...

Геннадий Борисович сверхосторожен в оценках и выводах, но тем надежней полученные от него сведения.

— Скажите, а могли образоваться такие повреждения при падении с верхней полки? — спрашиваю я, но в этот момент из вагона выносят носилки с трупом. Эксперт ждет, пока санитары установят их на тележку, тележка отъезжает, и я повторяю свой вопрос. В ответ эксперт демонстрирует свои способности по части дипломатии.

— В данном случае утверждать это я бы не стал, но и полностью исключить такую возможность было бы ошибкой.

Мне приходится менять тактику:

— По показаниям свидетелей смерть наступила от падения с верхней полки в двадцать три часа. Из ваших же слов получается, что на час раньше.

— Хотите сказать, что с полки в одиннадцать часов упал уже труп? Едва ли такое возможно.

— Почему? Это очень важно.

— Дело в том, что под труп натекло много крови. Такое количество могло излиться только после падения, а смерть наступила в десять. Повторяю, в десять, а не в одиннадцать. Ошибка в шестьдесят минут исключена. Если он и упал, как утверждают ваши свидетели; то только в двадцать два часа.

— Как быстро наступила смерть?

— Мгновенно, — не задумываясь отвечает эксперт.

— А кровь на вещах?

Я понимаю, что сморозил глупость, и Геннадий Борисович не замедлит этим воспользоваться.

— А это, извините, уже в вашей компетенции, — ехидно щурится он.— По-моему, ясно, что человек, получивший смертельный рану, за которой последовала мгновенная смерть, не может копаться в собственном ченоане. Или у вас другое мнение?

Я признаю полное поражение.

— На сегодня, к сожалению, все. — Он разводит руками.— Добавить мне нечего. Остальное завтра — после вскрытия.

Последние его слова перекрывают дребезжащий удар гонга, за которым следует объявление об отправлении поезда.

Состав плавно трогается.

Вместе с сержантом из дорожного отдела милиции мы прыгаем на подножку пятого вагона.

### Двадцать три часа пятьдесят минут

Гаврильч — проводник пятого вагона — сидит напротив меня и разливает свежезаваренный чай.

Мы молчим уже несколько минут. Мне необходимо собраться с мыслями и привести в систему противоречивые данные, собранные за время стоянки.

Итак, первое: смерть Виталия Рубина наступила не позже двадцати двух часов. Это установлено.

Второе: труп обнаружен в двадцать три часа, то есть спустя час после смерти. Обнаружили его двое, с различной, по их словам, в пределах минуты. Возможно, часы Янкунса отстают? На целый час? Но даже если это действительно так, часы Жохова не могут отставать тоже ровно на час. Да и сообщение о случившемся поступило в милицию сразу после одиннадцати.

Третье: смерть наступила мгновенно. Однако на вещах Рубина, на подушке, простыне и наволочке — следы крови.

Четвертое: и Жохов, и Янкунс, обнаружившие труп, утверждают, что непосредственно перед этим слышали шум. Эта версия не выдерживает никакой критики:

кровь на полу под трупом свидетельствует, что покойник лежал там с двадцати двух часов.

Но если Рубин не падал с полки в двадцать три часа, то какой шум могли слышать Янкунс и Жохов?

Если Станислав Иванович осыпался — зачем тогда он заходил в восьмое купе? В то же время, если Янкунс в самом деле спал, то почему он не проснулся в десять, почему не дал знать о случившемся несчастному?

И главное: кто рылся в ченоане и постели погибшего? Что там искали? Из протокола осмотра видно, что ничего особенного, заслуживающего внимания, среди вещей покойного нет. Может, потому и нет, что кто-то успел взять?

— Гаврильч, — спрашиваю я, отхлебывая обжигающую пахучую жидкость, — а что, все ваши пассажиры сели одновременно на одной станции?

— Да, как сели вместе, так и едут: от конечной до конечной.

— Постарайтесь вспомнить, что происходило в вагоне с десяти до одиннадцати.

Общительный и контактный Гаврильч как-то сразу скучнеет, теряет интерес к разговору:

— А ничего особенного, заслуживающего внимания, среди вещей покойного нет. Может, потому и нет, что кто-то

— Так и заложил в протокол?

— Протокол, протокол, чуть чего — протокол. Я и так расскажу, скрывать мне нечего... Видно, скучно им было, пассажирам-то. Так они карты затягивали. Я им замечание сделал, раз другой, а им — как с гуси вода.

— Ну вот, а говорите, ничего. Кто же играл в карты?

— Да все и играли.

— Где играли?

— В восьмом купе. До девяти разались. Ну да, до девяти, а потом разошлись.

— Виталий Рубин тоже играл?

— Это который того? — Проводник хмыкает.— А как же. Без него не обошлось. И парень этот, как его? Эрих, сосед, тоже, значит, там был. И грузин из четвертого, и муж дамочки из седьмого — фамилии, извините, не знаю — лысый такой.

— Жохов?

— Во-во, Жохов. Они вместе с Эрихом и пассажиром из пятого купе после карт в ресторан пошли ужинать.

— А остальные?

— Остальные по местам разошлись, куда ж тут еще денешься. У нас ведь не погуляешь, тесно.

— И когда эти трое вернулись из ресторана?

— Поздненько. — Гаврильч пожевал губами, вспоминая.— Около одиннадцати. Как раз перед тем, как бедолагу этого, Рубина, значит, обнаружили.

— Давайте посчитаем, кто оставался в вагоне с девятью до одиннадцати, — предлагаю я и начинаю перечислять: — Рубин Виталий — раз, Тенгиз из четвертого купе — два. Кто еще?

— Жена этого лысого, — подсказывает Гаврильч.

— Жохова — три. Еще?

— Ну и Родион. Вообще-то, билет у него в седьмое купе был, но он с самого начала попросил меня перевести его в свободное: неудобно, мол, с супругами, зачем мешать. А мне что — жалко? Если есть свободные места, я не против, пожалуйста. Открыл ему второе купе, постель выдал, там он и лег.

— Давайте-ка еще разок, что-то я совсем запутался. Значит, во втором купе едет Родион. В четвертом Тенгиз. В пятом — кто?

— Не знаю, как его кличут. Тихий такой. Он в ресторан вместе с лысым и Эрихом ушел. В девять.

— Так, дальше. В седьмом — муж и жена Жоховы, — продолжая я.— В восьмом — Эрих и Рубин. Правильно?

— Правильно. Больше никого. Посторонних в вагоне с самого отправления не было, только свои.

Я допиваю остатки чая и прошу проводника позвать ко мне Эриха Янкунса...

### Ноль часов семь минут

В дверном проеме появляется Эрих.

Некоторое время мы молча смотрим друг на друга, затем я приглашаю его войти:

— Проходите, Эрих, садитесь. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались между девятью и одиннадцатью часами.

— Спал, как все нормальные люди, — отвечает он с вызовом, давая понять, что беседа в столь поздний час не доставляет ему удовольствия.

Что ж, мне тоже.

— Если я вас правильно понял, вы легли в девять и спали все это время?

— Не совсем так.

— Уточните.

— До девяти мы играли в преферанс. Вас это тоже интересует? Могу рассказать о ходе игры.

— Пока в этом нет необходимости, — говорю я и, чтобы он не обольщался, повторяю: — Пока нет. Когда вы сели за карты?

— Кажется, он сообразил, что от него требуется.

— Хорошо, я скажу. Сели мы в шесть. Играли Тенгиз, вы его видели. Играли еще Лисневский...

— Как зовут Лисневского, не знает?

— Как будто Родион, но я не уверен.

— Продолжайте.

— Играл Виталий Рубин и я. В начале десятого закончили. Я вместе с Квасковым...

— Кто такой Квасков? — вновь перебиваю я.

— Он из пятого купе.

— Так. И что же вы сделали вместе с Квасковым?

— Пошли в вагон-ресторан ужинать. Вместе с нами пошел Жохов. Около десяти я ушел, а они остались. У себя в купе я лег спать. Остальное вы знаете: услышал шум, проснулся, увидел на полу Рубина.

— Когда вы вернулись из ресторана, он был еще жив?

Задавая вопрос, я не рассчитывал застать собеседника врасплох, но он опустил голову, пробормотал что-то на не знакомом мне языке, потом, запинаясь, ответил:

— Я не знаю... я не знаю, жив он был или нет... нет...

— Он лежал неподвижно?

— Не знаю.

— Но он находился в купе?

— Там было темно.

— А свет? Вы что, не включали свет?

Он отрицательно мотнул головой.

— Стало быть, вы хотите сказать, что после возвращения из вагона-ресторана вы не видели Рубина?

— Я думал, что он спит на верхней полке.

Оригинально: пассажир раскладывает постель на нижней полке, а спать ложится на голой верхней!

Но самое интересное другое: Рубин в это время был уже мертв. Выходит, Эрих перешагнул через труп и лег спать?

— Ладно, — поразмыслив, сдаюсь я, — а вы не допускаете, что Рубин просто вышел из купе? Вышел, а потом, когда вы уже заснули, вернулся.

— Я думал, что он спит на верхней полке, — повторяет Эрих и отводит свои голубые, с примесью серого глаза, похожие на холодные скользкие льдинки.

— Вы быстро заснули?

— Сразу.

— Получается, что могли не услышать, если кто-то входил в купе в этот промежуток времени?

— Я спал крепко.

Делаю паузу, чтобы осмыслить услышанное, а может, чтобы дать ему еще один шанс сказать правду. Но Янкунс этим шансом не пользуется — молчит.

— Итак, вы проснулись от шума?

— Да, от шума, — подтверждает он и тут же поправляет себя, в точности повторяя интонации Жохова: — В общем, были какие-то звуки... Но я не утверждаю... Как это сказать по-русски? Может, мне привиделось... да-да, привиделось во сне...

Сказав это, Эрих вымученно улыбается и, желая придать своим словам больше убедительности, добавляет:

— Жохов ведь тоже слышал шум. Я и подумал...

— Так вы слышали или подумали, что слышали? — пытаюсь шутить я, но ирония на него не действует.

— Не знаю, скорее всего, не слышал...

— Эрих, почему вы ушли из ресторана раньше, чем остальные?

— Меня не устраивала компания.

— Кто именно? Жохов или Квасков?

— Оба. Жохов выпил много пива и вел себя несносно. А Квасков молчал, будто немой.

— А в чем конкретно выражалось несносное поведение Станислава Ивановича?

— Ну, не знаю... Просто неприятный человек. Жалобы, какие-то угрозы...

— А если еще конкретней?

Янкунс внимательно смотрит на меня, точно взвешивая, стоит ли посвящать меня в свою тайну. Потом, решившись, говорит быстро, заметно волнуясь:

— Вы сыщик. Вы должны хорошенько этом разобраться. — В спешке он пропускает предлоги, но все так же тщательно подбирает слова. — Это очень темная история. Я не хочу наговаривать напрасно. Жохов угрожал податься Виталию. Он очень ревнивый.

— У него, что же, были основания ревновать?

— Наверно, были, — наконец решается сказать он, и у меня возникает четкое ощущение, что в этот момент он кого-то предал. — Когда мы играли в преферанс, — продолжает Эрих, — Рубин выходил из купе. А в ресторане Жохов сказал нам, что нашел у жены зажигалку Виталия. Это чистая правда.

— Вы не помните, на какое приблизительно время Рубин выходил из купе во время игры в карты?

— Всего на несколько минут.

— Какие именно угрозы высказывал Жохов?

— Он ругался, угрожал, сказал, что разделается с «этим щенком»...

Я чувствую, что продолжать разговор бессмыслица, отпускаю Эриха и выхожу следом за ним.

Беснущийся сержант вскакивает с откинутого сиденья и вопросительно смотрит на меня.

### Ноль часов двадцать минут

Ритмичный стук колес напоминает о времени. Его крайне мало — каждая секунда на счету. В нашем распоряжении только одна ночь. Завтра, по прибытии поезда на конечную станцию, пассажиры разойдутся, разъедутся кто куда, и тогда ищи ветра в поле...

«Кто из них? — думаю я. — Кто?!

Мысли возвращаются к Янкунсу. В его показаниях, при всей их неполноте и сомнительности, есть рацио-

нальное зерно: Жохов, вернувшись в свое купе после карточной игры, обнаружил у жены зажигалку Рубина. Не хватило бы какая улика, но ее оказалось достаточно, чтобы приревновать Виталия, угрожать ему расправой...

Интересно, если бы Эрих послушал мои мысли, обрадовал бы его ход моих размышлений? Хотел бы я это знать...

### Ноль часов двадцать пять минут

На этот раз, чтобы снова не попасть впросак, я стучу гораздо громче и терпеливо жду, пока отодвинется дверь седьмого купе. Ко мне выходит Жохова.

— Вам мужа?

— Нет, я хотел побеседовать с вами, — как можно любезней отвечаю я. — Всего несколько вопросов.

— Я вас слушаю.

— Здесь не совсем удобно. Давайте выйдем. Она послушно следует за мной в служебное купе. При нашем появлении проводник выходит, плотно притворив за собой дверь.

Я представляюсь по всей форме, предъявляю свое служебное удостоверение, которое, впрочем, мою собеседницу явно не интересует.

— А теперь назовите ваше имя и отчество.

— Жохова Татьяна Николаевна, — отвечает она сухо.

— Скажите, вы знали раньше пострадавшего из соседнего купе?

— Нет.

— Его фамилия Рубин, имя — Виталий. Может, слышали когда-нибудь?

— Нет, я его не знаю, — повторяет она. — Видела мельком при посадке, потом в вагоне, а знакома не была.

— Татьяна Николаевна, что за история произошла у вас с зажигалкой, расскажите, пожалуйста.

— С зажигалкой? — делает она удивленное лицо, не особенно при этом удивляясь. — Кто вам сказал?

В свою очередь я тоже делаю вид, что не слышу вопроса.

— Не пойму, о чём вы? — настаивает она, и мне приходится объяснить, хотя сам довольно смутно представляю, о чём идет речь:

— Я говорю о том предмете, который обнаружил ваш супруг после того, как вернулся из восьмого купе. Это было в двадцать один час.

— Ах, вот оно что?! — Ее тонкие, оттененные карандашом брови хмурятся. — Этую зажигалку подарила мне приятельница.

В подтексте звучит: «Охота вам заниматься такими мелочами?»

— Неохота, — мысленно отвечаю я, — но что делать, работа. А вслух спрашиваю:

— Фамилия, имя, отчество приятельницы, ее адрес?

Татьяна Николаевна бросает на меня полный презрения взгляд, прикусывает нижнюю губу.

— Вы можете показать зажигалку?

Жохова отрицательно качает головой.

— Она куда-то пропала.

Только этого не хватало!

— Я все вещи перерыла, — продолжает Татьяна Николаевна. — Она будто сквозь землю провалилась. Даже не знаю, что и думать.

Я тоже. В отличие от мифической подруги, заявление о пропаже выглядит довольно убедительно, во всяком случае похоже, что моя собеседница искренне расстроена потерей этой вещи.

— Как она выглядела?

— Очень изящная вещица. Из старинных. Корпус из слоновой кости, а сверху серебряный футляр, витой, из стеблей и цветов. Я оставила ее на столике в купе.

— Скажите, а Станислав Иванович — он что же, не знал о подарке вашей ленинградской приятельницы?

— Я не успела ему сказать. Она подарила зажигалку перед самым отъездом. Муж ее увидел и...

— И на этой почве вы поссорились?

— Вы хорошо осведомлены, — парирует она.

Скромность украшает человека, но в данном случае я предпочитаю обойтись без украшений:

— Возможно, больше, чем вы думаете.

Она опускает ресницы, чтобы погасить вспыхнувшую во взгляде неприязнь.

— Не понимаю, зачем в таком случае вам я?

— Хочу знать еще больше.

Она морщится, как от зубной боли, но отчасти удовлетворяет мое любопытство:

— Мужчины ревнивы, и Станислав Иванович не исключение. Он выпил лишнего, с ним это случается, и когда вернулся... Бог знает, что пришло ему в голову. Придрался к зажигалке, стал упрекать меня в неверности. Ему, видите ли, показалось, что эту вещь оставил в нашем купе Рубин — так, кажется, вы его называли. Станислав Иванович начал фантазировать, будто он, Рубин, приходил ко мне, ну и так далее...

— Скажите, подобные сцены имели место раньше?

— Станислав Иванович, — она упорно называет мужа по имени и отчеству, — ревнив сверх меры, но столь строгого объяснения я не припомню. — Татьяна Николаевна меняет наклон головы, и я вижу мелкую сетку морщин у переносицы, искусно скрытую слоем косметики. — Он говорил всякие гадости и вообще... не заставляйте меня повторять этот бред.

— В котором часу ушел из купе ваш муж?

— В начале десятого. Как раз в то время, когда в соседнем купе находился грузин.

— А почему вы думаете, что вторым был грузин?

— Один из них говорил с сильным акцентом.

— Как долго это продолжалось?

— Несколько минут. Я легла спать и заснула. Проснулась уже около одиннадцати...

— Значит, между девятью и десятью вечером Виталий Рубин к вам в купе не заходил?

— Нет, — твердо отвечает она.

Поблагодарив Татьяну Николаевну, я еще несколько минут сижу молча, переваривая все, что услышал. Потом прошу Гаврилычу открыть мне свободное купе и позвать Тенгиза.

— Из четвертого? — уточняет он. — Сей момент.

Через минуту ко мне заходит полный мужчина в майке с мультипликационным волком на груди и в спортивных трикотажных брюках. Его загорелое лицо добродушно, слегка заспанны, а губы, растрянутые в улыбке, обнажают ослепительно белые зубы.

— Ваша фамилия? — спрашиваю я.

— Зачем, слушай, фамилия? — удивляется он. — Тенгиз меня зовут. Я тебе без фамилии все скажу. Надо будет — всю ночь буду рассказывать...

Я беру протянутый им паспорт.

— Скажите, Чаурия, а вы ссорились с пассажиром из восьмого купе?

— Виталием, да? — Он грузно опускается на противоположную полку, пожимает плечами, отчего волк на его груди строит мне уморительную гримасу. — Знал, что спросишь. Ругались мы, да, ругались. Как мы могли не ругаться? Играли в карты, понимаешь, а он спекулянт называет. За что?! Я не вор, свои фрукты везу, не чужие. А он говорил: «Миллион с трудового народа сдирать едешь». Какой миллион?! Какой сдирать?! Своими руками копаю, своими руками ращу, какой, слушай, спекулянт, а?!! Я и есть трудовой народ, понимаешь? Два мешка мандарин везу — у меня справка сельсовета есть. Я честный колхозник! Чаурию каждый знает, он не спекулянт!

— Этот разговор был во время игры?

— Да.

— А что вы делали после?

— Что делал? Ничего не делал. Чай пил.

— В восьмое купе заходили?

Стыдливо потупив взор, Чаурия подтверждает:

— Да, слушай, заходил. А ты бы не зашел? Объяснять человеку надо? Справку сельсовета показать надо? Дорогой, говорю, зачем обижашь? Зачем спекулянтом называешь? Я не спекулянт, я колхозник!

У меня справка есть, свои фрукты везу, не чужие... — И закончился ваш разговор?

— Извинился, — небрежно отвечает Тенгиз. — Сказал, что неправ был.

— В котором часу это происходило?

— Может, в девять, может, позже. Я ушел от него, а он в седьмое купе пошел.

— К Жоховой.

— Откуда я знаю: к Жоховой, не к Жоховой! Кто такой Жохова?

Муж и жена там едут. Родион едет. Виталий зашел туда, а я пошел к себе чай пить. Потом в ресторан пошел — кушать захотел. Пришел оттуда, не успел спать лечь, как закричал кто-то. Выскочил я, а тут такое творится!

— Получается, что после девяти вы Рубина не видели?

— Совсем не видел. Скажу по секрету — нехороший человек Виталий. Со мной ругался, с Родионом ругался. Скандалный человек, не мужчина...

— С Родионом он тоже сорился?

— А как же! Сорился. Когда в карты играли.

— Из-за чего, не знаете?

— Вот этого, дорогой, не знаю.

### Ноль часов пятьдесят семь минут

Дверь открывает худощавый, неопределенного возраста мужчина: ему можно дать и сорок, и все шестьдесят. Несмотря на поздний час, его костюм в полном порядке.

— Лисневский Родион, — представляется мужчина. Вместо «р» он произносит мягкое «в», отчего получается забавное «Водион».

— А отчество? — спрашиваю я.

— Не слишком ли официально для полуночной беседы? А впрочем — Романович. Вы, наверно, по поводу несчастного случая? — продолжает он.

Я киваю и задаю ставший традиционным вопрос:

— Меня интересует, чем вы занимались между девятью и одиннадцатью вечера.

Он светски улыбается и вытаскивает из внутреннего кармана пиджака портсигар из слоновой кости, покрытый тонкой серебряной вязью.

— Вы спрашиваете, чем я занимался? Чем обычно занимаются мужчины, дабы скратить свободный вечер? — «Вечер» он произносит без последнего «р», зато «скоротать» звучит интригующим «сковоротать». — Играли в преферанс, побаловался чайком, потом бани. Сами понимаете, в пути выбор развлечений невелик.

Лисневский щелкает портсигаром и прячет его в карман.

— Меня интересуют подробности.

— Какие подробности?



Рисунки Алексея Остроменцкого

— Всякие. В частности, вашассора с пострадавшим.

— Ага,— говорит Лисневский, вытаскивает огромные часы-луковицу, недвусмысленно смотрит на ажурные стрелки, намекая на время.

— Пусть это вас не смущает,— говорю я.— В экстренных случаях мы имеем право беспокоить свидетелей в ночное время.

— Да-да.— «Водион» рассеянно смотрит куда-то поверх моей головы, скорей всего на свое собственное отражение в зеркале.— Случай безусловно экстренный...

— Итак, Родион Романович? Меня интересует, при каких обстоятельствах произошла вашассора с Виталием Рубином?

— С усопшим? — уточняет Лисневский и чешет висок длинным ногтем указательного пальца.— Собственно, ссора ли это? Он действительно вел себя вызывающе. Оскорбил Тенгиза, назвал меня мошенником, но, согласитесь, не вызывать же мне его на дуэль, а драться по такому поводу интеллигентному человеку просто глупо. К тому же мы с ним в разных весовых категориях.

— Так и не выяснили отношений?

— После игры я его не видел. Вас, кажется, интересует именно это? В девять я вернулся к себе в купе. Там застал семейную сцену. Я, признаюсь, не любитель острых ощущений, поэтому попросил проводника перевести меня в свободное купе, что он и сделал. Милейший человек. Далее: я перешел во второе купе, побаловался чайком и лег спать.

— В котором часу баловались?

— Увы, не засек.— Он разводит руками.— Не имею привычки.

— Когда проводник убирал стаканы, вы уже спали?

— Ах да, совсем упустил. После чая я решил совершил нечто вроде вечернего мюциона. Зашел к проводнику, поболтал с ним, так сказать, на вольные темы, а уж потом пошел к себе.

— Рубина, конечно, не видели?

— Только мельком.— Лисневский изящным щелчком собирает невидимую пылинку с лацканы пиджака.— Он направлялся к себе, но, откровенно говоря, у меня не было ни малейшего желания общаться с этим типом.

— Кто, кроме вас, играл в карты?

— Рубин, Эрих и Тенгиз.

— А кто присутствовал при этом?

— Квасков и мой сосед Жохов.

— В каком купе едет Квасков?

— Володя? В пятом.

— Скажите, Родион Романович, почему вы не пошли вместе со всеми в ресторан?

— Я, знаете ли, поиздержался за время отпуска. В настоящее время, что называется, стесен в средствах.

— Понятно. Ну, а в период между десятым и одиннадцатым никуда из купе не отлучались?

— Спал как сурок.— Он натянуто улыбается, но тут же улыбка сбегает с его лица, и, подаввшись вперед, он проникновенно заглядывает мне в глаза:— Я вас очень прошу, бога ради, не вмешивайте вы меня в эту историю. Поверьте, что я не имею к ней ни малейшего отношения.

— А кто имеет? — спрашиваю я тем же тоном.— Может, подскажете? Время-то позднее.

Он выпрямляется, и мы некоторое время слушаем перестук колес, думая каждый о своем.

Когда я выходжу, на щеках «Водиона Вороновича» горит яркий румянец.

### Один час десять минут

Мои попытки сдвинуть с места оконную раму ни к чему не приводят. А жаль — глоток свежего воздуха мне бы не помешал.

Выхожу в коридор и стучу в пятые купе.

— Квасков? — спрашиваю у заспанного мужчины, появившегося на пороге.

— Так точно, — отвечает он, массируя веки пальцами. — Владимир Квасков.

— Разрешите войти?

— Конечно, — он пропускает меня в купе.

Постель смята — хоть один человек в вагоне спал спокойно. На откинутом столике стоит почтая бутылка «Боржоми».

— Где брали? — спрашиваю у Кваскова.

— В ресторане. Хотите?

— Не откажусь. Вы догадываетесь, по какому я подводу?

— Догадываюсь, — отвечает он.

— Расскажите, чем вы занимались между девятью и одиннадцатью часами вчера вечером?

— Одну минуту, дайте припомнить. Значит, так: до девяти смотрел, как в восьмом купе играли в преферанс. Что дальше? Пошел в ресторан ужинать. Сидел один. Минут через десять пришли соседи по вагону:

Станислав Иванович и этот, что из Прибалтики. Эрих?

— Не знаю, кажется, Эрих. Он посидел с полчаса и ушел, а мы остались. Так... Постойте, около десяти в ресторан пришел еще один. Тенгиз из четвертого купе, но он сел отдельно. В одиннадцать мы со Станиславом Ивановичем вернулись в вагон. Не успел я раздеться, как услышал крики. Вышел узнать, что случилось. Оказывается, мужчина из восьмого купе разбрелся.

— Не помните, с кем он сорвался во время игры?

— Ну, поругался с Тенгизом и с тем... пижоном.

— Да, с ним. Назвал его мошенником — не знаю, почему. Я ведь за игрой не очень-то следил, сидел так, за компанию, от скучи. А с Тенгизом он сцепился из-за мандаринов, которые тот везет с собой.

— Вы долгое время находились в ресторане со Станиславом Ивановичем. О чём говорили?

— Это целая история. Станислав Иванович нашел у себя в купе зажигалку, вроде бы не свою, а этого... Рубина. Ну, закатил жене скандал, заподозрил, что, пока его не было, Рубин заходил к его жене. В ресторане только об этом и говорил. Обещал расправиться с ним, и жене своей угрожал, и всем на свете. Мне, знаете, даже надоедать стало, тем более что он солидно под градусом был, пива набрался, а пьяный человек, сами понимаете...

— Почему же вы не ушли, как Эрих, например?

— В том-то и дело. Он ведь попросил меня удержать Станислава Ивановича в ресторане как можно дольше.

— Кто, Эрих?

— Да.

— А чём он это объяснил?

— Сказал, что нехорошо получится, если Станислав Иванович в таком состоянии вернется в вагон. Начнет приставать к пассажирам, скандалить...

На короткий промежуток времени я перестаю слышать Кваскова. Все, что касается Янкуса, вдруг выстраивается в одну логическую цепь. Оказывается, в ресторан пошли не втроем, а сначала Квасков, а уж за ним Эрих с Жоховым. Следовательно, Эрих привел Станислава Ивановича, Эрих оставил его на попечение Кваскова, Эрих попросил, чтобы тот задержал Жохова как можно дольше. Очень любопытно!

— Вы знали Рубина раньше?

— Вроде нет.

— А других пассажиров?

— Тоже.

— Станислав Иванович не показывал вам зажигалку, ту, что нашел у себя в купе?

— Нет, не показывал, но я видел ее во время игры. Она лежала на чемодане, и все прикуривали от нее.

— Это была зажигалка Рубина?

— Откуда же я знаю, чья она. Может, и его, но пользовались ею все курящие.

— Вы выходили из ресторана между десятую и одиннадцатую?

— Да, на пару минут. Вместе со Станиславом Ивановичем. Он, я уже говорил, был сильно пьян, и я отвел его в туалет.

Я желаю Кваскову спокойной ночи и выхожу в тамбур.

Сержант — его зовут Сережа — ни о чем меня не спрашивает, но я вижу, что ему не терпится узнать, проникнулся ли я за полтора часа непрерывных поисков.

Что ж, можно и рассказать.

— Попробуй-ка решить такую задачку: возвращаются из отпусков семь человек. Друг с другом не знакомы, но в пути завязываются какие-то отношения: разговоры, мелкие ссоры, карты, ужин в ресторане. И вдруг одного из них находят мертвым.

— Я читал этот детектив, — прерывает меня сержант. — В Англии дело было.

— Да ну?! И ты, значит, решил, что в поездах убивают только англичан?

— Да нет, — смущается он.

— Ладно, слушай дальше, — продолжаю я. — Смерть наступила от раны, нанесенной тупым предметом в висок. В десять вечера. Установлено, что в венах убитого кто-то рылся. Таковы факты. Теперь о пассажирах. Заметь, Сережа, ни одного англичанина, все наши. В четвертом купе...

О том, кто едет в четвертом купе, я сказать не успел.

В вагоне раздается душераздирающий женский крик.

Мы выскакиваем в коридор и бежим к седьмому купе, у которого стоит Жохов. Его белое лицо выражает крайнюю степень испуга. Увидев меня, он делает шаг назад и шепчет едва слышно:

— Я убил человека...

На полу, обхватив голову руками, неподвижно лежит Родион Романович Лисневский.

Я нагибаюсь, переворачиваю его на спину и вижу, как из его ладони выскальзывает инкрустированная серебром зажигалка.

Веки Лисневского вздрогивают. Он приоткрывает глаза, силится что-то сказать, но ему это не удается. Из уголка рта выкатывается тонкая струйка крови.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### ВИЗИТ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

#### Один час тридцать минут

Я оставляю Лисневского на попечение сержанта, а Жохова увозжу с собой в третью купе. Постепенно к нему возвращается присутствие духа. Он осмысливенно смотрит на меня, делает несколько судорожных вздохов и начинает говорить, по привычке жестикулируя руками:

— Мы легли спать... я уже заснул... вдруг слышу Танин крик... Меня как подбросило... вскочил... вижу — мужчина... В купе темно, лица не разглядеть... Я ударил, что есть силы, он упал... Вы верите мне? — его рука прочертит в воздухе что-то, отдаленно похожее на вопросительный знак. — Верите? Я не хотел, но жена... Она так сильно кричала... После того, что с нами со всеми было, нервы на пределе...

— Я вам верю, — успокаиваю я Станислава Ивановича. — И потому постараитесь сосредоточиться и припомнить, что происходило в восьмом купе во время игры в преферанс. Это очень важно.

— Преферанс? — Жохов обеими руками гладит свой лысый череп. — Ах, преферанс... Я не играл. Я наблюдал... Вы серьезно интересуетесь?

— Вполне, — заверяю его я.

— Ну, что происходит? Очко было по две копейки. Постепенно игра захватила, игроки стали нервничать, один мизер раз десять играли, не говоря уже о восьмых. Сели после обеда, а пуля была до пятисот. Закончили в девять. Не обошлось без эксцессов. Лисневский не снес карты, играя в мизер, а Виталий, когда разложили, заметил это и обозвал его мошенником.

— А Тенгиз? — подсказываю я.

— Да-да, Тенгиз. Когда стали подсчитывать, оказалось, что больше всех проиграл он. Тогда Рубин сказал: «У спекулянтов денег много, не обднеешь». Тенгиз взорвался. В общем, стычка была основательная, они ругались даже после того, как все разошлись.

— Что вы делали после, когда ушли из восьмого купе?

— Во время игры все мы немного выпили, и когда я вернулся к себе, повздорил с женой и решил пойти в ресторан, тем более что меня пригласил туда Эрих. Там мы подсели к Кваскову и пробыли до самого закрытия. Верней, Эрих через полчаса ушел, а мы с Квасковым остались.

— Вспомните, о чем вы говорили?

— О разном, — уклоняется от ответа Жохов.

— Станислав Иванович, мне бы хотелось, чтобы вы были более откровенны.

— Но я действительно не помню.

— Вы о многом умалчиваете. Ведь вы угрожали Рубину. Ругались с ним. Положение более чем серьезное, и мой вам совет — будьте правдивы.

Он вскидывает руку, очевидно, собираясь доказать что-то, но тут же бессильно ее опускает. Возможно, в этот момент он вспоминает о Лисневском.

Хорошо, слушайте... Когда я вернулся в свое купе, то увидел на столике зажигалку этого подлеца. Ну и вспомнил, что во время игры он выходил на несколько минут из купе. Мне не оставалось ничего другого, как сделать вывод... — В его голосе появляется трещинка. — Если бы Таня хоть как-то объяснила мне эти совпадения. А она порола явную чушь. Про какую-то подругу, про подарок, и это в то время, как я лично видел эту самую зажигалку в руках Рубина каких-то полчаса назад! Вы говорите, что я с ним ругался. Да я обязательно поговорил бы с этим подонком, но, к сожалению, когда я хотел зайти к нему в купе, там был Тенгиз. Они кричали так, что было слышно даже через стенку. Мне надоело ждать, и мы с Эрихом пошли в ресторан. Да, я был зол на Рубина, но не помню, чтобы угрожал ему расправой.

Станислав Иванович, а вы уверены, что зажигалка, от которой прикуривал Рубин, и та, которую вы нашли у себя в купе, одна и та же? Может быть, вы ошиблись, и они просто похожи, мало ли одинаковых зажигалок? И почему вы думаете, что к вам заходил именно Рубин? Разве он один выходил во время игры?

— Из купе выходил и Эрих, и Лисневский, — соглашается Жохов, — но зажигалка принадлежала Виталию, я это точно знаю. Она очень понравилась Лисневскому, и он спросил Рубина, откуда у него такая красивая вещь. Тот ответил, что она досталась ему в наследство.

Я вытаскиваю зажигалку, которая выпала из руки Родиона Романовича.

— Это она?

Станислав Иванович берет ее, внимательно рассматривает и возвращает мне.

— Как она к вам попала? Татьяна говорила мне, что она куда-то исчезла.

— Я взял ее у Лисневского, а вот как она у него оказалась — не знаю. Может быть, вы...

— Понятия не имею. Когда я уходил в ресторан, то оставил ее на столе. Спросите у жены.

— Ну что ж, дельный совет. При случае обязательно им воспользуюсь. А пока... Скажите, почему все-таки вы зашли в восьмое купе?

Он слегка вздрагивает.

— Вернувшись из ресторана, я зашел к себе. Моей жены в купе не было. Ну и... я подумал, может, она... может, она в восьмом?

— Там ее не оказалось, — закончил за него я. И позже вы, конечно, спрашивали у нее, где она была в это время?

— Да, я спросил. Она сказала, что в туалете.

— Значит, никакого шума в восьмом купе вы не слышали, верно?

— Вы меня правильно поняли.

Я прошу Станислава Ивановича еще некоторое время оставаться на месте, а сам иду в седьмое купе.

#### Один час сорок одна минута

Лисневский лежит на левой нижней полке. Голова его запрокинута, пестрый галстук приструщен и съехал в сторону.

При моем появлении сержант встает и, придвинувшись вплотную, сообщает, что Родион Романович в сознании, но чувствует себя пока еще неважко.

— Свяжитесь с бригадиром поезда, — тихо говорю я. — Узнайте, нет ли радиограммы от Волобуева. Ждите меня у проводника.

Он уходит.

— Ну-с, Татьяна Николаевна, — обращаясь я к Жоховой, — вы ничего не хотите мне сообщить?

— Лучше бы сказали, когда наконец закончатся эти безобразия!

— Они закончатся, когда вы начнете говорить правду. Вы утверждаете, что Виталий Рубин был у вас в купе после девяти?

— Да.

— Уже после того, как ваш муж ушел в ресторан?

— Да, после.

— И кроме Рубина к вам никто не заходил?

— Нет. Только он. Рубин искал зажигалку и подозревал, что ее украл наш сосед.

— Это она? — спрашиваю я, протягивая ей вещицу, которую уже опознал Жохов.

— Она.

— Значит, к Лисневскому она могла попасть только от убитого?

— Об этом спросите у него. — Татьяна Николаевна смотрит на Лисневского.

— Вы выходили куда-нибудь в это время?

— Нет, — отвечает Жохова.

— А ваш супруг утверждает, что в двадцать три часа, вернувшись из ресторана, он не застал вас в купе.

— Я выходила только на несколько минут — умыться...

— Это неправда! — раздается голос Родиона Романовича. Он резко поднимается с полки и возмущено выкрикивает: — Она вас обманывает! Ее не было, не было! И зажигалку я взял не у Виталия... я вам все расскажу, только пусть она выйдет...

Жохова покидает купе и плотно задвигает за собой дверь.

— Все началось с этой проклятой зажигалки, будь она неладна... — продолжает он. — Вещь оригинальная и очень подходит к моему портсигару. Смотрите...

Лисневский достает свой портсигар. Действительно, две эти вещи очень похожи, словно сделаны одним мастером — обе покрыты тонким, витиеватым узором из серебряной нити.

— Я собираю подобные редкие вещицы, коллекционирую их. Захотелось приобрести и эту, но Виталий наотрез отказался, самому, говорит, нравится. Может, я все же уговорил бы его, но за картами мы поругались. Я сыграл невнимательно, и он обозвал меня мошенником. Потом, как вы знаете, все ушли в ресторан, а я остался. Нелепаяссора с Виталием меня, признался, очень расстроила. Я пошел к себе, но там выясняли отношения супруги Жоховы. Мне же хотелось отдохнуть, расслабиться, и я решил перейти в другое купе. Проводник открыл мне второе, выдал постель. Я выпил чай, попытался заснуть, но ничего не получилось, и я пошел к проводнику. Вдруг вижу, как из седьмого купе вышел Виталий Рубин. Он вернулся к себе, восьмое, а немного погодя в вагон с противоположной стороны вошел Эрих. Он заглянул в восьмое купе, потом в седьмое. Оттуда появилась Жохова, и они вместе перешли в третью... Я решил перенести свои вещи, вернулся в седьмое купе и увидел на столике зажигалку... — Лисневский делает паузу. — Что тут объяснять? Стыдно... Поддался минутной слабости, соблазн был слишком велик... Я взял ее. И уже через пять минут пожалел об этом. Решил все же переговорить с Рубиным, упросить его продать мне эту вещь, а если откажет — возвратить. Когда подошел к восьмому купе, услышал там голоса. Что было делать? Я постоял, подождал и вернулся к себе, отложив разговор до утра... Проснулся от криков Жохова. Вышел и увидел Виталия. Сами понимаете, тут было уже не до зажигалки. Потом появились вы, стали всех расспрашивать, я понял, что рано или поздно заинтересуются пропажей, ведь она принадлежала покойному. Я решил положить ее на место, постучал в седьмое купе, но мне никто не ответил. Дверь оказалась незапертой. Я подумал, что Жоховы спят, и вошел. Но не успел я и шага сделать, как раздался крик, а дальше ничего не помню — потерял сознание...

Возбужденный собственным рассказом, Лисневский заканчивает гораздо увереннее, чем начал:

— Теперь вы все знаете, судите сами. Конечно, я виноват, так порядочные люди не поступают. Поверьте, никакого отношения к несчастному случаю с Рубиным я не имею.

Если он рассказал правду, а похоже, что так оно и есть, то многое меняется. Очень многое! Значит, Янкунс не был в восьмом купе в двадцать два часа! Но кто же в таком случае там был?! Чьи голоса слышал Лисневский?

— Вы уверены, что человек, с которым Жохова ушла в шестое купе, был именно Эрих, а не кто-то другой?

— Не в шестое, а в третью, — не ловится в мою западню Родион Романович. — Несомненно, это был он. Зрение у меня хорошее. С Татьяной Николаевной был Эрих. И вошли они в третью купе.

Звучит довольно категорично, быть может, даже слишком.

— Еще вопрос. Вы видели, как Эрих вошел в вагон. Заходил он к себе в купе или только заглянул?

— Нет, только заглянул, потом сразу в седьмое, а оттуда, уже вместе с Татьяной Николаевной, ушел в третью.

— Он вас не заметил?

— Исключено. Я стоял у поворота...

#### Один час пятьдесят две минуты

Татьяна Николаевна успела подкрасить губы и наложить новый слой пудры. Она просит у меня сигарету, разминает ее, и я замечаю, как мелко подрагивают ее пальцы.

— Задавайте свои вопросы, я устала и хочу спать, — говорит она глухо, разгоняя рукой табачный дым.

— Я тоже. Поэтому давайте говорить начистоту. Это в наших общих интересах.

— Я уже все сказала.

— Все, кроме главного. Вы скрыли свои отношения с Эрихом Янкунсом. Простите, но нам придется обсудить и этот вопрос.

Она не подает вида, что удивлена. Сделав несколько глубоких затяжек, тушит окурок, растирая в пепельнице тлеющие крошки табака.

— Теперь мне все равно... Зачем скрывать, в конечном счете, это всегда обходится дороже... Наш брак со Станиславом Ивановичем не сложился. Мне было восемнадцать, а ему за тридцать. Я была наивна, он упрям и энергичен. Конечно, он мне нравился, и на первых порах все шло вроде хорошо. Но вскоре я по-

няла, что его упрямство ограничивается глупостью, забота обо мне — с эгоизмом. Детей у нас нет. Жили вместе, а фактически врозь. Я стала раздражительной, сварливой. Он тоже что-то чувствовал, но делал вид, что все нормально. В конце концов совместная жизнь стала невыносима, и я ему все сказала... Мы решили не торопиться, попробовать что-то склонить, исправить. Договорились поехать вместе отдыхать, надеясь на новое близкое, но ничего не получилось. Он еще больше отдался от меня... А может, это я отдалась, не в этом суть... Как-то на пляже, когда он увязался за подыгравшей мужской компанией, ко мне подошел Эрих. Мы сразу нашли общий язык. Он был мягок, ненавязчив, предупредителен. Я так отвыкла от всего этого, что не задумываясь согласилась на встречу. Понимала, что поступаю легкомысленно, что он моложе меня, что нас со Станиславом все еще связывают прожитые годы, но не смогла отказаться. Эрих воспринимал нашу встречу не как приключение, а как что-то серьезное, пожалуй, даже слишком серьезное...

Дверь плавно отодвигается, и в купе заглядывает Жохов. Он смотрит на меня, потом на жену и исчезает так же бесшумно, как появился.

— Когда пришло время отъезда, — продолжает Татьяна Николаевна, — Эрих решил ехать вместе с нами и взял билет в наш вагон, несмотря на мои просьбы не делать этого. Он обещал, что будет осторожен... И не сдержал слова. Дождался удобного момента, зашел ко мне. Муж в это время был в соседнем купе, с картежниками. Эрих стал умолять о последнем свидании, говорил, что нам надо проститься... Я снова не смогла ему отказать, но про себя решила — это свидание должно стать последним. Вскоре пришел Станислав Иванович. Он обнаружил зажигалку — я не заметила, как Эрих оставил ее на столе, — устроил сцену, накричал, стал грозиться, что посчитается с каким-то Виталием, которого я вообще не знала. Мне не удалось его успокоить, он так и ушел, вне себя от ревности, а через несколько минут в купе появился тот самый Виталий. Он о чем-то спрашивал, искал свою зажигалку, интересовался, где наш сосед, но я была в таком состоянии, что ничего толком не поняла и выпроводила его. Почти следом за ним пришел Эрих. Он успокоил меня, сказал, что Жохов в ресторане под присмотром надежного человека, а нам лучше всего поговорить на нейтральной территории. Мы ушли в третью купе. Пробыли там долго, пока не услышали в коридоре голос мужа... Эрих вышел первым, я за ним...

## Два часа девять минут

С помощью Татьяны Николаевны и Родиона Романовича я установил еще одно алиби. Янкус не был в восьмом купе в двадцать два часа. Он вместе с Жоховой находился в третьем. И Лисневский, и Жохова не очень удивили меня, рассказав об этом. Они скорей подтвердили то, что до сих пор было предположением, догадкой... Но кто убил Рубина? С какой целью? Вопросы оставались, и мне необходимо ответить на них сегодня. Точки над «и» предстоит поставить в оставшиеся часы — завтра в моем распоряжении останутся только фамилии, адреса, номера телефонов...

Я выходжу в коридор, стучу в нужную дверь, жду, когда ко мне выйдет Янкус.

— Спали? — спрашиваю у него.

— Нет.

— Как получилось, что вы оставили зажигалку в восьмом купе?

Эрих, как и следовало ожидать, молчит, и мне придется сказать, что я знаю о его отношениях с Татьяной Николаевной. Он смотрит на меня без всякого выражения и едва слышно говорит:

— Я вышел во время игры, чтобы повидаться с ней. Перед этим закурил и автоматически прихватил зажигалку с собой, а у Татьяны забыл ее на столе...

Я иду в служебное купе и застаю там Сережу.

— Радиограмма, — докладывает он. — Только что получили.

Разворачиваю, читаю:

...ОСМОТРОМ ВЕЩЕЙ РУБИНА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА УСТАНОВЛЕНО: ЧЕМОДАН, ИЗЪЯТЫЙ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ИМЕЕТ ДВОЙНОЕ ДНО. ИЗ ТАЙНИКА ИЗВЛЕЧЕНЫ ДЕНЬГИ В СУММЕ 24.437 РУБЛЕЙ. КУПЮРЫ, РАСКЛЕЙКА И СУММА СОВПАДАЮТ С ДАННЫМИ ВЧЕРАШНЕЙ ОРИЕНТИРОВКИ ОБ ОГРАБЛЕНИИ. УСТАНОВЛЕНО ТАКЖЕ, ЧТО КРОВЬ НА ВЕЩАХ ИЗ ЧЕМОДАНА И ПОСТЕЛЬНОМ БЕЛЬЕ СОВПАДАЕТ С КРОВЬЮ РУБИНА В. Ф. ПОКА ВСЕ, ЖЕЛАЮ УДАЧИ. ВОЛЛОБУЕВ.

И в конце: «ЗВОНИЛ, ПОРЯДОК».

Маленький листок содержит ценнейшую для меня информацию: становится известен мотив убийства. Преступник рылся в вещах покойного в поисках денег... Ориентировка, о которой идет речь в радиограмме, была скромна и лаконична. Две суток назад при выезде с последней точки инкассатор Государственного банка был убит, шофер машины тяжело ранен. Грабителей было двое, вооружены огнестрельным оружием. Никаких примет в сообщении местного отдела внутренних дел не приводилось...

Мы с сержантом выходим в тамбур.

— Ты читал радиограмму? — спрашиваю я.  
Он утвердительно кивает.  
— Ну, и какие соображения?  
Он трет свой курносым нос — вид у него бодрый, и я немножко ему завидую.  
— Уверен, что Рубина убили из-за денег.  
— Гениально. Это тоже из английского романа?  
— Есть хотите? — спрашивает Сережа. — Я у бригадира булочки достал и сыра кусок. Не очень свежий, но есть можно.

И вдруг меня осеняет! Я вспоминаю — ресторан! Ну, конечно же, ресторан! Это же так просто...

Стоп. Никакой спешки. Надо быть предельно внимательным и не совершать ошибки. Сейчас главное — не спугнуть убийцу...

...Мы с сержантом проходим по пустому коридору в конец вагона, я открываю тяжелым ключом дверь между вагонами, и мы попадаем в просторный салон, где в полумраке белые скатерти и стеклянная посуда на пустых столах выглядят непривычно и даже жутковато.

Стучу в обитую белым пластиком дверь и слышу в ответ возмущенный женский голос. Прошу открыть и называю себя.

На пороге появляется девушка. Она поправляет волосы и запахивает на груди халат.

— Скажите, кто обслуживал посетителей вчера между девятью и одиннадцатью часами?

— Я обслуживала, — отвечает она и пытается шутить: — А что, обсчитали, что ли, кого?

Я прошу ее выйти со мной в салон. Мы устраиваемся за ближайшим столиком.

— Как вас зовут?

— Лиза.

— Скажите, Лиза, много было посетителей вчера вечером?

— Нет, человек десять — двенадцать. А что случилось?

— Постарайтесь вспомнить, обслуживали ли вы двух мужчин — один невысокий, лысый, лет под шестьдесят, он еще много выпил, а второй — в сером костюме и галстуке вишневого цвета.

— Кажется, я знаю, о ком вы говорите. Они заказали по отбивной и бутылке пива, потом еще несколько раз заказывали пиво. Один был в сером костюме, а другой, маленький, все руками размахивал... Сидели до закрытия...

— А когда вы закрывали?

— Зал начали освобождать без четверти одиннадцать.

Я подробно описываю ей Эриха, и Лиза подтверждает, что видела его, но когда он ушел, не заметила.

— Может быть, заметили еще одного посетителя: полный такой, с усами, он пришел около десяти?

— Он сидел вот за этим столиком. — Лиза разглаголивает ладонью скатерть на столе, за которым мы расположились. — Я ему замечание сделала — в майке пришел и в спортивных брюках, у нас так не принято.

— Майка с волком?

— Ага, «Ну, погоди!»

— Так вы его не впустили?

— Впустила. Посетителей немного, а план делать надо. Я и обслужила.

— Он никуда не выходил?

— Кажется, нет... Точно сказать не могу, не заметила.

## Два часа двадцать три минуты

Я возвращаюсь в свой вагон, подхожу к восьмому купе, осторожно открываю дверь и входу, стараясь не наступить на очерченный мелом контур.

Прошла минута и двадцать семь секунд.

По двойному стеклу, оставляя за собой змеящиеся неровные бороздки, ползут капли. Там, за окном, снова идет дождь.

Я выходжу и иду по мягкой дорожке в тамбур, где меня ждет Сережа.

— Ну как, товарищ капитан? — спрашивает он по-чешски.

— Конечно.

— Ну, дуй...

Не знаю, что говорил им мой помощник, но и Гаврильч, и Лисневский возникают передо мной неслышно, точно привидения, и не произносят ни звука. Я коротко объясняю задачу, после чего сержант, а за ним Гаврильч уходят в девятое купе. Родион Романович задерживается, пытается что-то сказать, но я слегка подталкиваю его в спину и посыпаю вслед за ними.

Коридор по-прежнему пуст. Ощущение, что пассажиры давно спят, но я знаю, что это не так. Где-то, за одной из этих дверей, притаился человек, которого я ищу...

Осторожно прикрываю за собой дверь и сажусь слева, ближе к перегородке, отделяющей нас от восьмого купе.

Во тьме едва проглядывается грузная фигура Гаври-

льча. Лисневский сидит рядом, а сержант — у двери, в позе человека, готового в любую минуту к прыжку.

## Три часа тридцать семь минут

«Конечно же, — думаю я, — он решил, что риск слишком велик и давно спит. А утром, когда состав загонят в тупик, он спокойно...» Я не успевала закончить свою мысль.

Какой-то звук доносится сквозь перегородку. Напряженный до предела слух старается уловить еще хотя бы один шорох. Тщетно. Никто из сидящих не подает признаков беспокойства. Неужели показалось? Так или иначе, надо принимать решение. Если сейчас блокировать восьмое купе, а там никого не окажется — вся моя затея летит в чертю. Если же преступник там, а мы будем ждать и дальше, то можем его упустить.

Еще раз взвешиваю все «за» и «против».

Нет, надо ждать.

Бесшумно придвигаясь вплотную к перегородке. Кожей лица ощущаю ее шершавую поверхность, прижимаюсь к ней, выжидаю, затянув дыхание. Мгновение спустя отчетливо слышу, как по стенке ящика под нижней полкой провели рукой. Потом осторожно закрыли крышку...

Он там! На этот раз никаких сомнений.

Выпрямляюсь. Достаю из наплечной кобуры пистолет, снимаю его с предохранителя. Вижу, что сержант последовал моему примеру.

Мы выходим в коридор. Сергей, обойдя меня справа, стремительным рывком отодвигает дверь восьмого купе. В образовавшемся проеме темно.

— Сопротивление бессмыслица! — слышу я свой собственный голос. — Поднимите руки и выходите!

Секунды тянутся долго, очень долго. Затем раздается звон разбитого стекла. Вместе с порывом холодного воздуха из купе вылетает короткая, как блеск молнии, вспышка. Потом резкий звук выстрела. Одновременно с сержантом бросаюсь вперед, в темноте натыкаюсь на чью-то спину. Толчок от второго выстрела отдается в моем теле. Пуля с визгом ricochetit о металла, вспарывает обшивку.

Свет заливают купе, и я встречаю яростный взгляд лежащего на полу Кваскова...

## Три часа пятьдесят пять минут

Сержант, успевший надеть на Кваскова наручники, протягивает мне паспорт, бумажник, ключи. Пистолет лежит на откинутом столике. Рядом — пустая обойма и четыре желтых тупорылых патрона. Сам Квасков сидит напротив, рассматривая свои порезанные стеклом руки. Его узкое лицо покраснело от пота, опухшие веки почти полностью закрывают глаза, оставив узкие, как амброзии, щели — как видно, сержант не много перстасался.

Он молчит, и говорить приходится мне:

— Вчера в двенадцать часов десять минут вы вместе со своим сообщником Виталием Рубиным сели в пятый вагон скорого пассажирского поезда. Рубин вез с собой деньги, которыми вы два дня тому назад завладели, совершив разбойное нападение на инкассаторскую машину...

Смотрю на реакцию Кваскова. Он все так же молчит, спрятав лицо в ладони.

— Я могу только предполагать, но, кажется, вы с Рубиным не поделили деньги, он пытался скрыться с выручкой, чтобы присвоить себе вашу долю.

— Законную долю, — вставляет Квасков.

— Весь день вы искали возможность поговорить с сообщником наедине, но он избегает вас. Рубин специально затянул игру в своем купе, он делает все, чтобы окружить себя людьми. Конфликтует с Чаурия, ищет ссоры с Лисневским... Вы терпеливо ждете. Идете в ресторан. Туда же приходят Эрих с Жоховым, а потом и Чаурия. Около десяти вечера Эрих уходит. Следом за ним выходите и вы. Ведете Жохова в туалет, а сами, оставив его там, возвращаетесь в вагон. Заходите к Рубину. Он один. Происходит короткий разговор. Он грубо отказывает вам, не хочет делиться. Вы возмущены поведением сообщника...

— Неправда, — снова прерывает Квасков, но по выражению его лица я вижу, что мой рассказ близок к истине. — Я не убивал его. Он вообще не хотел говорить со мной, ударил в лицо... Я удергался на ногах и тоже его толкнул. Он не ожидал толчки, потерял равновесие и упался головой сначала об откинутую верхнюю полку, а затем об острый угол стола. Когда я нагнулся над ним, все было конечно...

— Продолжайте, пожалуйста, Квасков.

— Нечего мне продолжать, — отрезается он.

— Вы не рассказали, как вас застянули. Вышли, вымыли руки и вернулись в вагон-ресторан. На все это ушло меньше десяти минут. Жохов был еще в туалете. Вы увели его за столик и просидели там до закрытия. А ночью решили продолжить поиски.

— Этой глупости никогда себе не прощу...

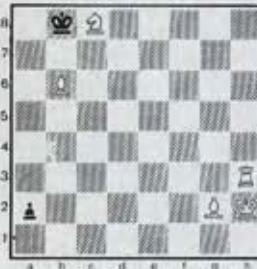
Сержант протягивает мне протокол, а я совсем некстати вспоминаю о булочках и куске сыра, которые он раздобыл у бригадира поезда. Не очень свежие, но есть можно...



## 31-я шахматная олимпиада

Под редакцией  
гроссмейстера  
Виктора ЧЕПИЖНОГО

ПАРАД МИНИАТЮР  
И. ФРИЦ  
1950 г.



Мат в 3 хода

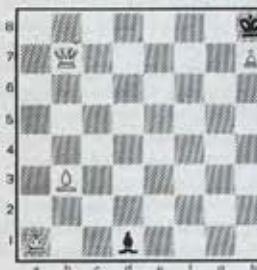
Прямолинейная попытка решить задачу путем 1. Лс3? с угрозой 2. Са7х опровергается превращением черной пешки в ферзя. К цели ведет 1. Лв3! с угрозой 2. Са5+ Кр:c8 3. Чh3x. Защищаясь от нее, черные превращают пешку в коня — 1...а1K! А вот теперь осуществим первоначальный план: 2. Лс3! с неизбежным 3. Са7х. Это логическая канва задачи. Но с равным основанием эту задачу можно отнести и к «чешским». Действительно, в ней есть еще один вариант, который, как и два предыдущих (учитывая угрозу), тоже заканчивается правильным матом: 1...Кр:c8. 2. Лd3 а1F 3. Лd8x.

## СЕДЬМОЙ ТУР



Белые: Кре1, Фg6, Kg4, Kh3, п.g2 (5)  
Черные: Kph1, Kc5 (2)  
Мат в 3 хода (3 балла)

II

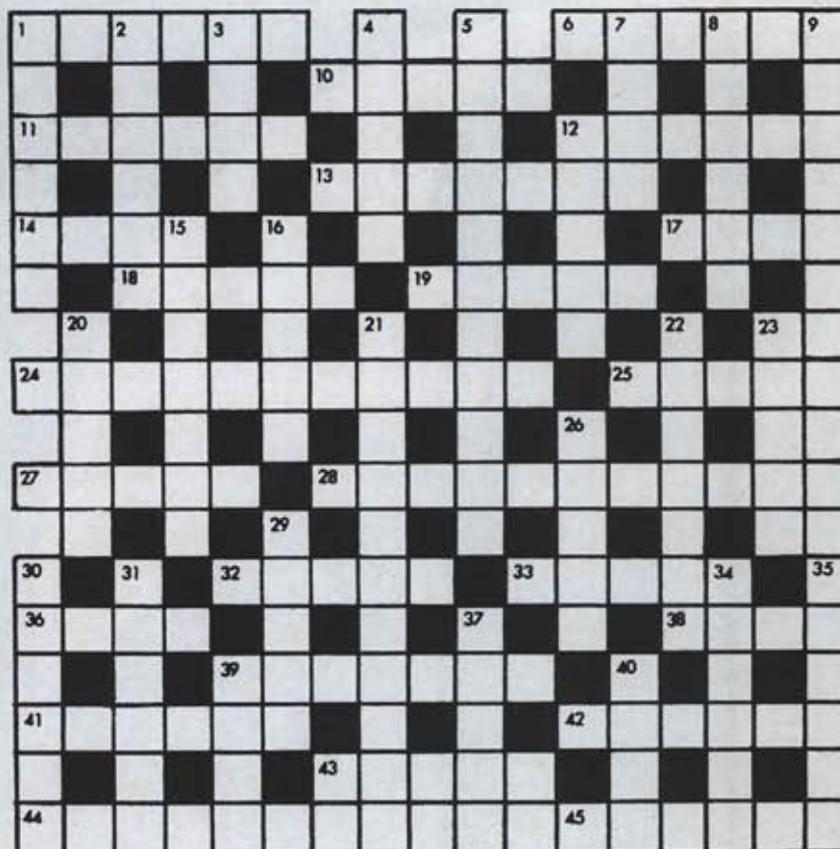


Белые: Кра1, Фb7, Сb3, п.h7 (4)  
Черные: Kph8, Cd1 (2)  
Мат в 3 хода (3 балла)

Ответы на задания присыпайте только на открытках (без конвертов!) с пометкой «31-я шахматная олимпиада, VII тур». Последний срок отправки писем (по почтовому штемпелю) — 15 августа.

## КРОССВОРД

## КОНКУРС КРОССВОРДИСТОВ



## ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

На этот раз, дорогие читатели, предлагаем вам сравнительно простую сетку, по которой каждый, кто желает участвовать в конкурсе, должен составить кроссворд, ни в чем не отступая от правил, изложенных в статье «Гимнастика ума» («Смена», № 2 за этот год). Прежде чем приступить к работе, необходимо, разумеется, изучить и условия второго задания, и указанные правила, и, конечно же, в точности их выполнить.

Победителей конкурса жюри определит по очкам. При этом за **КАЖДОЕ** сочетание в загаданных словах двух одинаковых гласных (**МООНзунд**, полу<sup>У</sup>став, Я) будет начислено 5 очков. Кроме того, очки будут начислены тем участникам конкурса, кто в начале загаданных слов сможет взять свыше 20 букв алфавита. При этом за 21-ю букву будет начислено 3 очка, за 22-ю — 6, за 23-ю — 9 очков и т. д. (то есть за каждую новую букву сумма вырастает на 3 очка).

В предложененной сетке 48 слов. Значит, на одну букву нельзя загадывать больше 4 слов. Слов с правильным чередованием гласных и согласных можно загадать не больше 24, а имен собственных — не больше 16.

Особое внимание надо обратить на интересное толкование слов. Вот примеры интересных определений: акварель — еще одно, что помимо стихов и статей на темы литературы и искусства родит П. Валери и М. Волошин; даф — непременный участник сазандари; Колесников — летчик, совершив-

ший 20 апреля 1945 года последний таран в Великой Отечественной войне; хризантема — цветок, символ осени в Китае. Безд таких определений хотя бы части слов «Смена» сейчас кроссворды не печатают.

К каждому загаданному слову надо обязательно указать источник определения. При этом источниками не могут быть никакие кроссворды.

К домашней работе необходимо приложить сетку, заполненную загаданными словами. На листке с сеткой надо крупной цифрой проставить сумму набранных очков. Этой же крупно написанной цифрой надо начать и листок, где указана система подсчета очков. Скажем, вы сумели загадать слова на 24 буквы алфавита, и в них встречается 20 сочетаний из двух одинаковых гласных. В этом случае вы набрали за 4 начальные буквы сверх двадцати  $3 + 6 + 9 + 12 = 30$  очков и за 20 сочетаний — 100 очков, то есть всего 130 очков.

Одну или две лучшие работы «Смена» напечатает. Их авторам, а также еще двум победителям редакция предоставит право напечатать вне очереди обычный кроссворд, составленный по нашим правилам и с интересными определениями слов. Все они и еще шесть победителей будут награждены дипломами «Смены».

Работа должна быть отослана не позднее 15 августа. На конверте пометьте: Конкурс кроссвордистов, второе задание.

Успеха вам, дорогие читатели!

## ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

## По горизонтали:

- Идеал. 6. Овраг. 10. Цапля. 12. Сулепа. 13. Узбеки. 14. Плебс. 16. Культура. 17. Нежность. 18. Ядрин. 20. Эвр. 22. Пик. 25. Буславев. 26. Костянка. 28. Шатобриан. 30. Яхтмен. 32. Тло. 34. Арс. 37. Гомер. 41. Ламантин. 42. Ионкинд. 43. Тсуга. 44. Чернец. 45. Жданки. 46. Евнух. 47. Фильм. 48. Дятел.

## По вертикали:

- Делиль. 3. Ахматова. 4. Баллада. 5. Хлебников. 7. Византия. 8. Атеист. 9. Осока. 11. «Ниня». 14. Пря. 15. Сен. 19. Буран. 20. Эпиграммы. 21. Реоро. 22. Птака. 23. Кносс. 24. Октет. 27. Масонство. 29. Блондель. 31. Трагедия. 33. Нейграйз. 35. пленко. 36. Жмурик. 37. Гит. 38. Роя. 39. Зияние. 40. Удриц.



Пролетарии  
всех стран,  
соединяйтесь!

## СМЕНА'89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года.  
Выходит два раза в месяц.

## № 10 (1488) МАЙ

Главный редактор  
Михаил КИЗИЛОВ

Редколлегия:

Сергей БАБКИН  
(заместитель главного редактора)  
Борис ДАНЮШЕВСКИЙ  
(заместитель главного редактора)  
Александр КУЛЕШОВ  
Андрей КУЧЕРОВ  
Альберт ЛИХАНОВ  
Иосиф ОРДЖОНИКИДЗЕ  
Сергей ПОПОВ  
(ответственный секретарь)  
Юрий РАГОЗИН  
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
Евгений РЯБЧИКОВ  
Вадим САЮШЕВ  
Виталий СЕВАСТЬЯНОВ  
Владислав СЕРИКОВ  
Виталий ФЕДОРОВ  
(главный художник)

Художник  
Юрий АФОНИН  
Технический редактор  
Елена НАЗАРОВА

Сдано в набор 03.04.89.  
Подписано к печати 17.04.89.  
А 08834. Формат 70 × 108½.  
Бумага для глубокой печати.  
Глубокая печать. Усл. печ. л. 5.60.  
Усл. кр.-отт. 19.60. Уч.-изд. л. 10.26.  
Тираж 2 500 000 экз.  
Заказ № 452.  
Цена 35 коп.



101457, ГСП, Москва,  
Бумажный проезд, 14



212-15-07 — для справок. Отделы:  
212-21-59 — рабочей молодежи и науки,  
212-21-38 — коммунистического воспитания,  
212-23-79 — фотоочерка,  
251-32-84 — военно-спортивный,  
251-32-84 — международной жизни,  
251-04-10 — литературы и искусства,  
212-11-27 — писем и массовой работы.

Ордена Ленина  
и ордена Октябрьской Революции  
типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, Москва, А-137,  
улица «Правды», 24.

Рукописи, фото и рисунки  
не возвращаются.  
Рукописи объемом  
более одного авторского листа  
(24 машинописные страницы)  
редакцией не рассматриваются.

Фото Константина КОКОШКИНА



# "Шуба-дуба..."

Нина ТИХОНОВА

Ненадолго и не всех увлекла своими жестокими откровениями отечественная рок-культура. Неудержимо потянуло обратно, к незамысловатым пасторальным в духе: «Ландыш, ландыш, светлого мая привет». И не по произволу хитрого авантюриста, а по настойчивым заявкам слушателей с новой силой начали произрастать десятки ласковомайских ансамблей, ублажающих сочинениями про розы — морозы.

Автор-исполнитель эстрадных песен и пародий Владимир Маркин на смешливо смотрит на музыкальные штампы. Впрочем, оказалось, что те, кого пародирует Маркин, отучили

зрителей угадывать юмор. В письмах, которые получает артист, его благодарят, это — приятно. Но озадачивает, что хвалят на полном серьезе: «Наконец-то на нашей эстраде появилось что-то настоящее, с чувством. Приятным голосом Вы поете красивые песни».

Снова тень наискосок,  
Рыжий берег с полоской ила.

Я готов целовать песок,  
По которому ты ходила.

Маркин был уверен, что написал шутку, пародию на репертуар курортных ресторанов. Потому и дал ей не-серьезное название — «Шуба-дуба». Однако ресторанные и прочие ВИА не согласились с остротами в свой адрес и, отбросив ироническую интонацию, запели «Шубу-дубу» всерьез.

Возможно, ошибка была спровоцирована самим Маркиным? Не в его характере излишне утрировать юмор, и ирония оказывается настолько тонкой, что впору и не заметить.

— Если человек не хочет чего-нибудь замечать, он не заметит, как ни старайся, — рассуждает Володя. — Судите сами, разве можно не обратить внимания на то, что в песенке «Я б назвал такую королевой» хор подпевает — «левой», и подобная игра — в каждой строчке. Но ведь некоторые и здесь юмора не видят.

Песенку про «Таньку — самую симпатичную во дворе» я предваряю объяснением, что это — стилизация под «дворовый фольклор». И все равно 14-летние всерьезплачут. Ближе к тридцати годам человек уже с улыбкой вспоминает трогательные, но несерьезные страсти первой детской любви. А после пятидесяти, по моим наблюдениям, «дворовая лирика» вновь представляется душепитательным, без шуток, слезливым романсом.

— Может быть, на такие темы действительно не стоит шутить?

— Я ведь не издеваюсь, я по-доброму, — возражает Маркин. — Тяга людей к простым сюжетам и образам закономерна. Это — ностальгия по детству, стремление к естественным, искренним, добрым взаимоотношениям. Я сам зачастую умиляюсь эстрадным песенкам, они мне нравятся. Но в то же время режет, когда простота воплощается в притивной, «одноклеточной» форме. Нет, хочется подтрунуть, юмор проверить: в самом деле речь ведется в простоте или же это — манерное сююканье, которым человек с единственной извилиной высокомерно старается обмануть себя и слушателей.

Идеальной Маркин считает молодежную аудиторию. Он сам недавно окончил МЭИ.

Формально Владимир Маркин артистом не является. До последнего времени работал радиостанции в ДК МЭИ.

Сейчас там же создал хорорасчетную студию звукозаписи.

— Только это будет не просто бюро проката аппаратуры, которую мы с ребятами купили на собственные деньги, полученные за концертные выступления. Это будет нечто вроде театра-студии, такое место, где молодые авторы и исполнители получат возможность реализовать свои замыслы.

Я наконец-то запишу песни, объединив их под званием «Трудное детство». Так же будет называться моя собственная группа. В первый альбом войдет в основном песни «дворового фольклора».

Думаю, что среди них будут знаменитые в репертуаре Маркина — интеллектуальные частушки. Герои их — обычные жертвы всевозможных кратких курсов обучения. В его представлении Гегель, Фейербах, кардинал Ришелье склоняются друг с другом в духе более привычной обычательской глазу коммунальной кухни, а переваренные цитаты из философии и изящной литературы нелепо применяются к самым неподходящим житейским ситуациям. В частушках порыв песенного персонажа к прекрасному и возвышенному, заблудившийся в дремучем примитиве, выдает смешные гримасы. Юмор готов стать защитой от пошлости, но...

— Я очень любил сочинять «попурришки», — признается Маркин. — эти коллеги из песен, где понятно, что откуда заимствовано.

Теперь лично познакомился со гими эстрадными артистами, композиторами, и уже их песни пародировать как-то неудобно. Поэтому эстрадники очень обижаются, тоже оказывается, не понимают юмора.

Я-то думал, они сами шутят, когда сочиняют свои песни, а у них все всерьез. О моей «Шубе-дубе» говорят — это шлягер, огромная творческая удача — без тени улыбки.

Вообще-то я «Шубу-дубу» вычислил. Многие стараются угнаться за существующей модой, а я пытаюсь заглянуть на день вперед. Чего сегодня не хватает, то войдет в моду завтра. Пусть сейчас мой юмор понимает один процент зрителей, надо сделать, чтобы завтра остроумных людей стало больше.